

В. В. ОДИНЦОВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ

В. В. ОДИНЦОВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ



**Книга
для учащихся
старших классов**

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1976

Одинцов В. В.

О42 Лингвистические парадоксы. Книга для учащихся ст. классов. М., «Просвещение», 1976.

128 с.

Автор в популярной и увлекательной форме рассказывает о важнейших явлениях, происходящих в жизни языка, о том, что язык — стройная система с присущими ей логическими отношениями, обеспечивающая взаимопонимание людей.

Книга должна раскрыть учащимся тайны жизни языка, показать, что изучение языка — увлекательная наука, полная неожиданных находок и открытий.

О $\frac{60601-522}{103(03)-76}$ 217—76

4

© Издательство «Просвещение», 1976 г.

К читателям

«Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь наша, — писал выдающийся русский писатель А. Н. Радищев, — но в самом существе ничто столь удивительно есть, столь чудесно, как наша речь... О вы, любители чудес, внемлите произнесенному вами слову, и удивление ваше будет нечрезмерно...»

Каждая наука имеет свою систему понятий, отражающих характерные особенности тех фактов, явлений, которые она изучает. Лингвистика изучает язык. Лингвисты пытаются установить закономерности, лежащие в основе этого сложного и многогранного явления, помочь в овладении языком, облегчить взаимное общение людей. Но вот в открытой, установленной закономерности наблюдаются какие-то неожиданные отклонения, исключения. Начинаем присматриваться к ним и обнаруживаем новую закономерность, иногда другого плана, другого уровня.

Взять хотя бы орфографию. Скажем, краткая форма от прилагательных *случайный, знойный, стройный, спокойный* будет *случаен, зноен, строен, спокоён*. Усвоив это, ребята иногда от прилагательного *достойный* образуют краткую форму по аналогии, тогда как надо писать *достоин*. Почему? Зачем мы пишем букву *ь* в конце таких слов, как *рожь, мышь*? Ведь никакой мягкий знак не произносится, шипящие *ш* и *ж* произносятся твердо. Для того, чтобы отличить эти существительные женского рода от слов мужского рода, например *нож*,

камыш? Но кому из русских это неизвестно! Да и правило требует сначала установить род слова, оканчивающегося на шипящую, а потом уже решать, ставить *ь* или нет. Почему мы пишем *и* в словах *ножи, мыши*, хотя произносим *ы*? Куда убегают гласные в словах *сон, день* в родительном падеже — *сна, дня* — и почему этого не происходит в словах *сом* или *дом, сор* или *дым*?

Для того чтобы понять эти явления, необходимо обратиться к языку далекого прошлого, языку Древней Руси, который дошел до нас в старинных надписях, памятниках, относящихся к X в. и более поздним временам. Древнерусский язык существенно отличался от современного — и по звуковому строю (даже многие хорошо известные нам слова произносились иначе), и по грамматике (например, было три числа — единственное, множественное и двойственное; пять типов склонения, несколько форм прошедшего времени — подобно тому, как их несколько в современных западных языках, и др.). В течение столетий язык изменялся, изменялся хотя и медленно, но непрерывно. Однако некоторые формы сохраняются, живут (это неизбежно — изменения в языке не могут быть внезапными, тогда люди вдруг перестали бы понимать друг друга), эти-то формы и оказываются странными, необычными, представляют исключения, кажутся на первый взгляд парадоксальными.

Но не все факты можно объяснить, обратившись только к древнерусскому языку. Многие становятся ясными, когда лингвисты сопоставляют близкородственные языки (например, славянские — русский, украинский, польский, чешский, болгарский и др.) или языковые группы (выяснилось, например, что славянские языки родственны романским, т. е. латинскому, французскому, итальянскому и др.; германским, т. е. немецкому, английскому и др.; балтийским и др., а их общий предок условно назван индоевропейским (как ни удивительно, к числу родственных относятся также иранские языки, древнеиндийский и др.).

Подобные языковые факты, объяснимые путем сопоставления с близкородственными языками или языковыми группами, являющиеся исключениями из общей сис-

темы русского языка, кажутся на первый взгляд также лингвистическими парадоксами.

Лингвистический — значит связанный с языкознанием, *парадокс* — обозначает странное, необычное, удивительное явление, противоречащее установленным закономерностям, иногда даже здравому смыслу.

Попытаемся в этой книге рассказать о некоторых лингвистических парадоксах, характерных для русского языка. Автор не стремится дать полные ответы на вопросы, которые решаются современной лингвистикой, он только хочет обратить внимание читателей на то, каким сложным и вместе с тем совершенным инструментом является язык, которым мы пользуемся в повседневном общении, как удивительно он богат и выразителен.

Лабиринт

Как ни многообразен мир, как ни сложны явления и понятия действительности, мы всегда можем о них рассказать: обозначить явления и понятия словами, слова соединить в предложения, предложением выразить нашу мысль. Как будто бы все в языке четко, стройно, логично. Можно ли в этом сомневаться?

К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти» записал, как один мальчик возмущался:

«— Это не настольная игра, а настульная. Ведь я же играю не на столе, а на стуле».

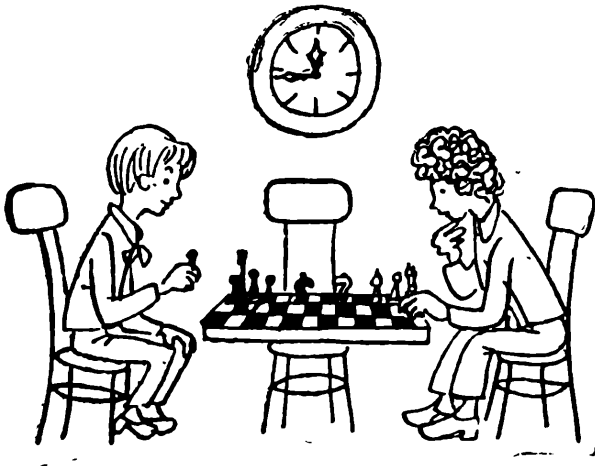
В самом деле, почему обязательно говорить *настольная игра*, если в нее можно играть и на стуле, и на полу, и вообще где угодно? Легко возразить, что чаще всего в настольные игры играют на столе, поэтому их так и называют. Другой мальчик тоже удивлялся:

«— Мама, что такое война?»

— Это когда люди убивают друг друга.

— Не друг друга, а враг врага».

Конечно же, воювали всегда враги, и враг убивал своего врага, а мы говорим *друг друга* и даже как будто не замечаем очевидной бессмыслицы. Часто мы слышим выражения *ужасно хоро-*



шо, страшно красивая и, если вдруг спохватываемся, начинаем рассуждать: как же это может быть — страшная и вдруг красивая? Можно было бы посмеяться над явной нелогичностью этих выражений, если бы мы не встречали их в произведениях признанных знатоков русского языка, у наших мастеров слова.

Из письма в научный журнал:

Можно ли говорить так: *встреча с песней*? Такой вопрос мне задали внучки-школьницы. Я спросила их мнение. Они ответили: «Нет!» И обосновали тем, что слово *встреча* может употребляться только при противоположном движении: людей, живых существ, транспорта, ветра, воды и др. Они заявили, что без движения не может быть встречи!..

Ответ лингвиста: «Если учитывать возможность употребления слова в переносном, метафорическом значении, словосочетание *встреча с песней* не включает в себе ничего необычного и не противоречит идее противоположного движения в слове *встреча*: можно ведь допустить, что люди ждут, ищут песню, а песня «идет» к людям. Другое дело, хорошо ли это выражение, когда оно становится штампом в газетном стиле».

Но в отдельных ли выражениях суть? Если приглядеться внимательнее, мы заметим подобные языковые неточности повсюду. Вспомним, сколько замечательных умов погибло, доказывая ту великую истину, что Земля вращается вокруг Солнца. А в обыденной жизни нас устраивают старые представления, и мы говорим *солнце всходит и заходит* или еще более нелепо: *солнце встает, солнце садится*. Вопреки всем законам физики мы говорим *теплая одежда, шуба хорошо греет*, хотя прекрасно знаем, что шуба не печка, что шуба только сохраняет тепло нашего тела. Ваш товарищ простудился, вам скажут: *Он не пойдет в школу, у него температура*. Как будто у

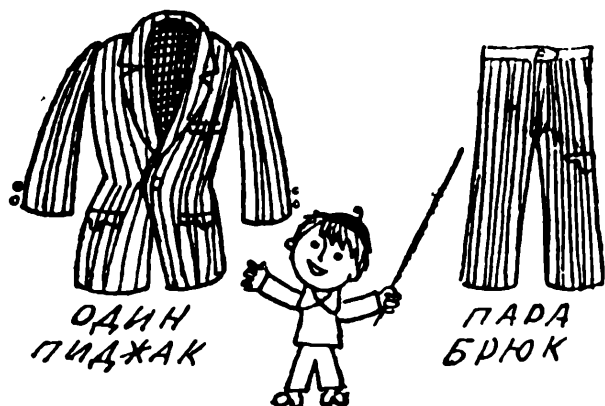


всех нет температуры! Удивительно неточно мы выражаемся! Самое же странное то, что все при этом прекрасно понимают друг друга. Говорят неточно, а понимают правильно!

Может быть, грамматика помогает взаимному пониманию? Не грамматика ли, строгая и четкая, исправляет неточности в нашей речи? Попытались проверить. Лучше было вовсе не браться за эту грамматику. Противоречий оказалось еще больше. Тот, кто делал русскую грамматику, явно куда-то торопился.

Взять хотя бы существительные. Слово может стоять в единственном и во множественном числе. Это естественно, потому что реально нам нужна бывает одна вещь или несколько таких вещей. Но многим словам почему-то не досталось одного числа — единственного или множественного. Например, слово *ножницы* не имеет единственного числа, хотя в реальной действительности это может быть одна штука, а может быть и много. И смотрите, какая путаница из-за этого получается. Вам говорят: *Для ребят купили ножницы*, а вы не знаете, идет речь об одной штуке или о многих. Или: *Красивые у Петрова часы* — и опять неясно сколько. Еще хуже, когда указывают на число часов, когда используют для счета слово *пара*. Вот строчки из писем языковедам:

В одной книге я прочел: *У нее две пары часов, и обе не ходят* — а речь шла не о четырех, а о двух штуках. Мой друг говорит: *сменил пять пар часов*, а имеет в виду только пять штук. И так говорят многие. Кто ввел эту глупую *пару*? В словаре я нашел *пара весел, пара сапог* — это правильно, речь идет о парных предметах, о двух штуках. Но как попали в этот разряд часы?



...Почему существует такое определение — *пара брюк*? Мои товарищи объясняют это тем, что брюки имеют две штанины. Я считаю

такое объяснение неправильным, ведь пиджак имеет два рукава, но говорят не «пара пиджаков», а *один пиджак*.

...Отдельные граждане продолжают упорно проносить *на пару слов, на пару минут* и даже *пара пустяков*. Почему бездействует наша лингвистическая общественность?

Вопросов много, и не сразу сообразишь, что отвечать. Очень сильно влияние разговорной речи, в которой много такого, чего не терпит строго нормированный, книжно-письменный язык. Впрочем, ответить на последний вопрос можно словами писателя К. Федина: «В практике борьбы за культуру речи необходим не только хороший слух, но и основательные знания. Выражения «пара минут», «пара слов» и т. д. обвинялись в иммиграции к нам с Запада, с потоком беженцев в империалистическую войну. Но вот изысканный знаток языка — Н. Лесков — написал «Пару строк вместо эпилога» к роману «Обойденные», а в письме к Микулич говорит о «паре дней». Очевидно, было бы пуризмом¹ настаивать на изгнании из языкового обихода этой малопривлекательной «пары»...»

Но вернемся к грамматике. У некоторых существительных множественное число какое-то странное. Например, *масла́* — это просто разные сорта масла независимо от того, много его или мало. Совершенно непонятно, зачем слову *песок* нужно множественное число — *пески*. *Пески* — не значит 'много песка'. Нельзя сказать: «Машины повезли сюда кирпичей, *пески*». И в то же время *пески* — это не разные сорта песка. Нельзя сказать: «На стройку привезли *пески* красного и желтого цвета». В каком-то смысле *пески* — это то же самое, что *песок*. Иногда все равно, как сказать — *пески* или *песок*, например: *Их взору открылась пустыня. Песок до самого горизонта (Пески до самого горизонта)*. Странно, разве все равно: *В комнате стоял стол* или *В комнате стояли столы*? А вот у слова *человек* не употребляется множественное число «человеки», а вместо него используется слово *люди*, которое не имеет единственного числа.

¹ Пуризм — неоправданное языковое запретительство.

Если взять род существительных, то здесь положение еще хуже. Приходите вы в школу, идете в кабинет директора, а там за столом — женщина. И хотя есть слова *директорша*, *директриса*, вы называете эту женщину словом мужского рода — *директор*, потому что те слова обидные.

Не думайте, что такие грамматические противоречия встречаются только среди существительных. Возьмите любую часть речи, и обнаружите там то же самое. Скажем, глагол. Кажется нелепым вопрос: какого рода глагол *копает*? Никакого. Мы говорим: *он копает* и *она копает*. Зачем глаголу категория рода? Но образуйте прошедшее время: *копал* — мужского рода, а *копала* — женского. Почему глаголы прошедшего времени изменяются по родам, а глаголы настоящего времени не изменяются?

А почему так часто ошибаются при образовании степеней сравнения прилагательных — сравнительной и превосходной?

Например, говорят: «Вчера отец был более добрее», «Команда показала более лучшую игру», «Твой друг бежал несколько побыстрее», «Музыкант он самый талантливейший» и т. д. Дело в том, что степеней сравнения в грамматике только две, а способов выразить качество в большей или меньшей степени в нашем языке множество. Так, разные оттенки смысла прилагательного *тяжелый* передают слова: *нетяжелый*, *не очень тяжелый*, *тяжеловатый*, *тяжеленький*, *тяжеленок*, *тяжелешенок*, *тяжелехонек*, *тяжелее*, *потяжелее*, *более тяжелый*, *тяжеленный*, *тяжелейший*, *тяжелющий*, *самый тяжелый*, *тяжелее всего*, *наиболее тяжелый*, *претяжелый*, *тяжелый-претяжелый*, *наитяжелейший*, *архи-(ультра-)тяжелый* и др.

Кажется, глупо спрашивать: какого рода числительное *пять*? Или числительные *двадцать*, *триста*, *шестьсот*? А вот числительные *один*, *миллион* — мужского рода, а *две*, *тысяча* — женского. Кстати, *тысяча* может быть в единственном и во множественном числе, а другие числительные, например *пятнадцать*, какого числа — единственного или множественного? Как-то даже странно говорить о числе числительного. Сколько нелогичного! Или это только чьи-то ошибки?

Узаконенные ошибки

Людам свойственно ошибаться. Известен и ряд языковых ошибок, основанных на непонимании иностранных слов. Так, европейцы, осваивая новые земли, не всегда находили «общий язык» с местными жителями. Из-за недоразумения возникли слова: *орангутанг* — буквально ‘лесной человек’ (так туземцы называли жителей внутренних лесов острова Борнео, ныне Калимантан, а европейцы решили, что речь идет о крупных человекообразных обезьянах); *кенгуру* (увидев впервые этих животных, европейцы спросили у местных жителей, как те называются, и услышали в ответ — *кенгуру*, т. е. ‘мы не понимаем, не знаем’); *Канада* — ‘хижины’ (речь шла о небольшом селении индейцев, оказавшемся поблизости, позже этим словом назвали огромную страну).

Зонтик — так зазвучало по-русски голландское слово *zondek* — буквально ‘покрышка от солнца’. Позже *ик* стало восприниматься как уменьшительный суффикс и появилось слово *зонт*, которое можно считать собственно русским (его нет ни в одном другом языке). Но не только непонимание иностранных слов порождало ошибки.

В древности ошибки часто допускались переписчиками манускриптов, труд которых был нелегким: им приходилось переписывать до 60—80 страниц в день. Не спасло от ляпсусов и развитие книгопечатания. Некоторые из ошибок, которые делали переписчики и наборщики, были позже узаконены. Самый известный случай — слово *зенит*. У арабов было *semt*, так оно сначала и записывалось в Европе, но когда-то то ли буква *t* была нечетко написана, то ли над последней палочкой третьей буквы случайно появилось небольшое пятнышко, буква *t* стала восприниматься как две: *n* и *i*, а все слово в таком виде вошло в европейские языки. Это ли не парадокс?

Менее известны другие случаи. Устойчивые ветры тропиков, периодически меняющие свое направление, т. е. дующие летом с океана, а зимой с суши, называются *муссоны* (восходит к арабскому *mausin* — ‘сезон’). Близко к русскому звучание этого слова в румынском языке (*mison*) или, скажем, во французском (*mous-*

son). Но в других языках в середине видим *n*: английское monsoon; испанское monzon; итальянское monsonе; немецкое monsun; чешское monsun; шведское monsun и т. д. Легко догадаться, в чем дело. Да, случайная ошибка: *n* — это перевернутое *и*.

Иногда ошибка породила мифы и легенды. Так, осознав различия языков, люди попытались дать им объяснение. Библия рассказывает, что некогда у всех людей был единый язык и жили они богато и счастливо, но возгордились и решили построить башню «до неба», желая сравняться могуществом с богом. Богу это не понравилось, и, не найдя другого средства, он взял и смешал языки строителей: каждый заговорил на своем языке, люди перестали понимать друг друга, строительство башни, естественно, не могло продолжаться. Среди людей возникло смятение, и они рассеялись по миру, а то место назвали Вавилон. Почему же именно Вавилон стал символом языкового хаоса?

Французский ученый А. Бернель объясняет, что *Вавилон* (из-за звукового сходства) связывали со словом *балал* — ‘смешивать’, в действительности же название *Вавилон* происходит от аккадского *Баб-илу*, что в переводе на русский означает ‘Врата Бога’. Это название было передано по наследству от древнего города Каддингир (тоже ‘Врата Бога’), на месте которого возник Вавилон. Таким образом, миф о вавилонском столпотворении (или смешении языков) в значительной степени обязан языковой ошибке.

Можно указать еще на одну, которая увековечена не только в слове, но и в мраморе. «Моисей» — одно из самых прославленных созданий Микеланджело. В нем скульптор воплотил мечту о мудром и решительном человеке, волевом и страстном. Неподвижная фигура полна внутреннего напряжения, динамизма. Пророк справедлив, но страшен в своем гневе. Народ, которого он спас, которому он не~~с~~ законы новой жизни, отступился от него, променял правду на деньги. Значительно увеличивают впечатление от образа рассерженного пророка маленькие рожки надо лбом. Откуда у пророка рога? Это многих удивляет. Во всем виноват латинский перевод библии. Латинское *coг(o)natu*s — ‘сияющий, окруженный сиянием, лучами’; *согопату*m — ‘венчать, украшать венком’ было подменено другим: *согнату*s —

рогатый', cognūs — 'рог'. А Микеланджело воссоздал эту ошибочно возникшую деталь в облике Моисея.

Своего рода ошибками можно считать многие фразеологические обороты, возникшие в результате усечений, искажений ранее вполне понятных выражений.

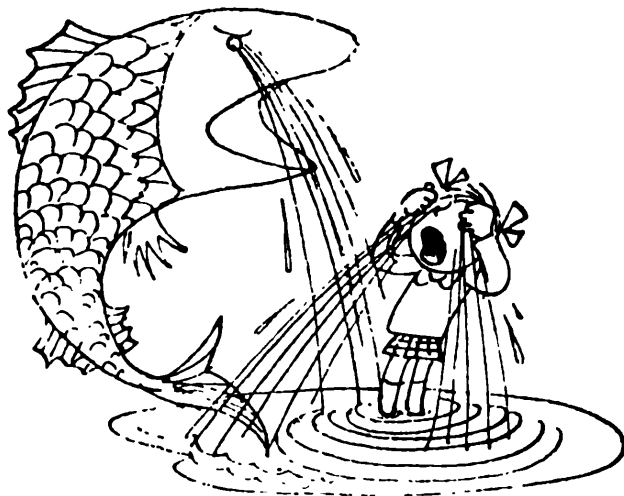
Например, ошибочно выражение *реветь белугой*. Белуга нема, как и все рыбы. А вот млекопитающее из семейства дельфиновых подотряда зубатых китов — белуха, достигающая шести метров длины и полутора тонн веса, имеющая большое промысловое значение, может реветь, мычать. В речевом обиходе малоизвестное название *белуха* заменено словом *белуга*.

Известное изречение *Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное* поражает своей странностью. Сравнение, однако, будет ясно, если вспомнить, что у греков наряду со словом *kámelos* — 'верблюд' имелось *kámilos* — 'канат, толстая веревка'. Вероятность подмены тем больше, что долгое *e* произносилось как *i*, *kámelos* звучало как *kámilos*. Правильнее было бы: *Легче канат протянуть через игольное ушко...*

О богатстве и гибкости языка

Все-таки ошибками, случайностями мало что можно объяснить. Нелогичного же, странного, противоречивого в языке много. И чем дольше размышляешь, тем тверже убеждение, что эта нелогичность имеет смысл.

В самом деле, возьмем обычное, ничем не примечательное слово *глухой*. Что оно означает? Так говорят о человеке, полностью или частично лишенном слуха. Например: *Старик ничего не слышал: он был глух*. Но то же слово можно употребить и в другом смысле: *глухой голос*, т. е. 'незвонкий'. Мы говорим: *глухая тайга*, т. е.



‘дикая, сплошь заросшая’; *глухая деревня*, т. е. ‘находящаяся вдали от населенных мест, от промышленных центров’; *глухая стена*, т. е. ‘сплошная, без проломов, проходов, без всяких отверстий’; *глухая полночь*, т. е. ‘время суток, когда все замирает, затихает’. Кроме того, можно сказать *глух к добру*, *глухое недовольство*, *глухой согласный* и др.

Если вы полистаете толковый словарь русского языка, то увидите, что большинство слов имеет несколько значений, например: глагол *идти* — двадцать пять, слово *рука* — восемь, *бить* — одиннадцать и т. д.

Было бы лучше, если бы каждое слово имело только один, строго определенный смысл? Тогда вместо одного слова *идти* пришлось бы запоминать двадцать пять слов, а со временем, возможно, и больше, вместо слова *глухой* — пятнадцать — двадцать разных слов. Но главное — язык лишился бы своей гибкости. Язык утратил бы свою образность (возьмите хотя бы выражение *глухая полночь*), свои яркие краски, свою душу. Жизнь сложна, противоречива, изменчива. Смог ли бы отразить ее жестко регламентированный язык? Думается, что на это способен только естественный язык, «живой как жизнь».

Синонимию форм легко увидеть и в грамматике. Скажем, форма настоящего времени обозначает совершающееся действие, т. е. такое, которое происходит сейчас, в данный момент. Если мы говорим *Луна светит из-за туч*, то это значит, что на небе тучи и сквозь них мы видим луну, видим сейчас, в момент речи, а через пять минут, может быть, луны не будет видно совсем или, напротив, тучи рассеются и она откроется вся, полностью. Но можно сказать и так: *Луна светит отраженным светом*. Что, раньше этого не было или через пять минут луна может и не отражать солнечный свет? Нет, это высказывание не имело в виду какой-то определенный момент: луна светит отраженным светом всегда. Форма та же, а значение слова иное. Наконец, можно так рассказать о прошедшем: *Шел я вчера вечером из кино. Луна светит. Снег блестит...* Форма настоящего времени потребовалась рассказчику для повествования о действиях, которые явно совершались до момента речи. Зачем же? Разве нет в русском языке форм прошедшего времени? В этом случае настоящее

время придает рассказу особую живописность, наглядность. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Ванька»: как живо переданы воспоминания мальчика и какую огромную роль играют при этом глаголы настоящего времени! И не только настоящее, но и будущее время глаголов может живописать прошлое. Вспомните «Бежин луг» И. С. Тургенева: *Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной...*

И наоборот, прошедшее время может быть использовано для обозначения действия в будущем: *Если отряд не придет завтра, мы погибли*, т. е. 'погибнем'. Зависимость одного действия от другого выражена здесь резко, категоричнее, чем было бы, если б глагол *погибнуть* стоял в форме будущего времени.

Возможности синонимичного употребления мы видим и у других грамматических категорий глагола. Например, формы повелительного наклонения могут заменять сослагательное, выражая условие: *Шепотки волосков лиса не пожалей — остался б хвост у ней* (И. Крылов).

Многозначность слов и синонимия форм, возможность варьирования, переносного употребления и обеспечивают гибкость языка, передают тончайшие оттенки мысли, чувства. И при этом никакой путаницы, во всем своя строгая языковая логика. Н. В. Гоголь писал: «...сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно...» И так же как в живом организме нераздельны понятия «вчера», «сегодня», «завтра», так и в языке история и современность сливаются, дополняют и объясняют друг друга.

Коварство времени

Странно, когда у некоторых животных, живущих на суше, обнаруживаются жабры. Ученые объясняют: когда-то эти животные жили в воде. Странно, когда в пустыне, далеко от моря, находят ракушки морских моллюсков. По этим приметам определяют: раньше здесь было море. Странность оказывается остатком прежней закономерности. Так же и в языке. То, что нас сейчас удивляет, когда-то было естественно.

Могут ли быть *мужественные женщины*? Конечно. Хотя прилагательное *мужественный* и произошло от слова *муж* — ‘мужчина’, сейчас связь этих слов не ощущается. *Перочинным* ножом уже не чинят перья. Всем известны уменьшительно-ласкательные суффиксы *-ик* и *-ок*: *дом* — *домик* — *домок*; *час* — *часик* — *часок*. *Петушок* — это ‘маленький петух’, *сапожок* — это ‘маленький сапог’. Но вот другие примеры: *пузырек* — разве это ‘маленький пузырь’? *Сырок* отличается от сыра. Никто сейчас не воспринимает как уменьшительные слова *нитка*, *частица*, *платок*, *мешок* (когда-то образовано от *мех*), *булавка*, *молоток*, *скамейка*, *корка* и десятки других. Про человека, который снял пояс, мы не скажем: *Он распоясался*. В магазине продают мясо свиньи — *свинину*, барана — *баранину*, коровы — *говядину*. Почему не «коровину»? В старые времена словом *говядо* обозначали крупный рогатый скот, в том числе быка, корову. Слово *говядо* исчезло, слово *говядина* осталось, но уже в узком значении — ‘мясо коровы или быка’.

Язык Древней Руси нам мало понятен, он сильно изменился. Язык все время развивался и развивается. Изменения происходят незаметно, но непрерывно.

Уж на что, кажется, прост и понятен язык времен Пушкина. Но правильно ли мы понимаем его? Понятен ли Пушкин современному читателю? Этот вопрос впервые поставил В. Брюсов в 1918 г. Он писал: «Понимаем ли мы Пушкина? Большинство ответит, что Пушкин всем понятен в отличие от декадентов и футуристов, и это будет неверно. Для «среднего» читателя в сочинениях Пушкина три элемента «непонятности». Во-первых, чтобы вполне понимать Пушкина, необходимо хорошо знать его эпоху, исторические факты, подробности биографии поэта и т. п. ...Во-вторых, необходимо знать язык Пушкина, его словоупотребление... В-третьих, необходимо знать все миросозерцание Пушкина...»

В самом деле, читая об отъезде Лариных в Москву (глава VII «Евгения Онегина»), мы мало обращаем внимания на строки:

На кляче тощей и косматой
Сидит фореитор бородатый...

Нам безразлично, были ли у форейлора усы, борода или нет. Но читателю той эпохи эти строки говорили многое. В. В. Вересаев так комментировал это описание: «Почему «бородатый»? Форейлорами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже — мальчишки. Вот почему: Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг — поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейлора! И взяли старого, который ездил еще лет пятнадцать — двадцать назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим «бородатым» форейлором Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных». Пушкин показывает, как провинциально, как смешно выглядел обоз Лариных с горшками, тюфяками, банками варенья, подчеркивает, что и возок-то у них старый, почтенный; фореитор, и тот *бородатый*.

Вспомним «Капитанскую дочку» (глава VII — «Приступ»). Прощаясь с женой и дочерью, Иван Кузьмич говорит: *Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан. Что за необычная заботливость о нарядах дочери в предсмерт-*



ный час? Современник Пушкина понимал, что речь шла о спасении жизни. Сарафан носили крестьянки, и комендант, зная, что Пугачев казнит дворян, советует жене одеть Машу крестьянкою.

Непонимание еще более опасно в тех случаях, когда слова, которые мы встречаем у Пушкина, слова как будто нам хорошо известные, полностью или частично изменили свой смысл и в современном языке употребляются в другом значении. Нам кажется, что все понятно, а на самом деле мы искаженно воспринимаем текст пушкинского произведения. Так, прочитав в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» строки:

И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить, —

юный читатель вообразит еще, пожалуй, царицу с рогаткой, какими мальчишки стреляют по воробьям и галкам. Царица угрожала вещами гораздо более страшными — каторгой, тюрьмой. Рогаткой в старину назывался железный ошейник с длинными остриями, который надевали на шею заключенным, колодникам.

Другой пример. Сцена дуэли («Евгений Онегин», глава VI) — напряженный, драматичный момент:

Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — «Начнем, пожалуй», —
Сказал Владимир...

Что значит это *Начнем, пожалуй?* Не хочется, но раз пришли, так надо стреляться? Или Ленский раздумал, струсил? Ничего похожего. Если перевести *пожалуй* с

языка Пушкина на язык наших дней, то смысл его ближе всего к современному *пожалуйста*, а точнее, *изволь*. Ленский идет на дуэль так же смело, как и Онегин. И Ленский отвечает Онегину не с дрожью в голосе, а твердо и уверенно: *Начнем, изволь*.

Когда в произведениях А. С. Пушкина встречаются неизвестные и неупотребительные сейчас слова (вроде *сикурс*, *пироскаф*), можно узнать их значение, обратившись к «Словарю языка Пушкина» или словарю современного русского литературного языка. Труднее, когда встречается слово как будто бы понятное, хорошо всем известное, но изменившее свое значение. В этом случае мы можем неправильно понять текст.

Слово *возмутительный* — ‘вызывающий чувство гнева, неудовольствия’ всем известно. Откроем «Капитанскую дочку». В главе VI рассказывается, как к крепости приближается Пугачев с войском. *Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами.* Листами, вызвавшими недовольство коменданта, рассердившими его? Нет, с листовками, побуждавшими гарнизон к возмущению, подстрекавшими к мятежу, бунту, восстанию, — таково было значение слова *возмутительный* в пушкинские времена. Белогорская крепость пала. Пугачев принимает присягу гарнизона. Но комендант отказывается признать Пугачева государем: *Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!* Почему Иван Кузьмич называет Пугачева вором? Словом *вор* называли тогда вообще всякого злоумышленника, преступника. А Пугачев в глазах дворян был преступником. Гринев далее вспоминает: *Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей.* Великодушных? Добрых, снисходительных, сердечных? Нет, не об этом говорит Гринев, не эти качества отмечает он у своих товарищей в трагическую минуту. *Великодушных* — т. е. ‘обладающих величием души’, мужественных, стойких, смелых, сильных духом. Но Гринев остался жив. Езжатый (а это слово значило ‘проводник’ — от *водить*) узнал его: *...я помиловал тебя за твою добродетель...* Слово *добродетель* в современном языке значит ‘положительное нравственное качество, высокая нравственность’. Но Пугачев помиловал Гринева за его *добродетель* в том смысле, какой это

слово имело в пушкинскую эпоху, т. е. за 'доброе дело', за благодеяние, которое совершил Гринев, подарив безвестному бродяге заячий тулуп. Так об этом и сказано: *...я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов.* Тогда же Пугачев спросил: *Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.* Гринев смутился: *Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческою.* Но Пушкин употребил слово *самодовольство* не для того, чтобы читатель плохо думал о его герое. *Самодовольство* здесь означает 'чувство самоудовлетворения', сознание того, что поступил в трудную минуту так, как следовало.

Приведенные примеры наглядно представляют то, о чем мы вообще-то знаем, но чего не ощущаем, что нас как будто бы не касается, — изменение языка. В 40-е годы выдающийся лингвист академик Л. В. Щерба писал в статье «Литературный язык и пути его развития»: «Из того, что в основе всякого литературного языка лежит богатство всей еще читаемой литературы, вовсе не следует, что литературный язык не меняется. Пушкин для нас еще, конечно, вполне жив: почти ничто в его языке нас не шокирует. И однако было бы смешно думать, что сейчас можно писать в смысле языка вполне по-пушкински. В самом деле, разве можно сегодня написать *Все мои братья и сестры умерли во младенчестве* («Капитанская дочка»)? Это вполне понятно, но так никто не пишет и не говорит». Язык Толстого, Чехова нам, конечно, ближе, но тоже имеет некоторые отличия.

Новые слова и значения появляются все время. Но изменяется не только словарный состав языка, изменяется и грамматический строй.

Признав факт развития, изменения языка и его форм, мы теперь сможем понять и объяснить многие странности, многие загадки грамматики.

Седьмой падеж

Говорят, что каждое открытие начинается с удивления. В самом деле, удивится человек, казалось бы, совсем неувидительным, обычным вещам, тому, что знают,

видят все: почему яблоко падает, почему небо голубое, почему листья зеленые; задумается, станет расспрашивать, читать — и сделает открытие. Даже если наука давно объяснила эти явления, все равно он сделает открытие — для себя...

Вот строчка из Маяковского: *Я бы в летчики пошел...* Простой вопрос: какой падеж *в летчики*? — Конечно, винительный! — ответят вам. Что же здесь загадочного? Давайте просклоняем это существительное: именительный — (кто?) *летчики*; родительный (кого?) — *летчиков*; дательный (кому?) — *летчикам*; винительный (кого?) — *летчиков*.

Может быть, *летчики* — это творительный? Нет, творительный — *летчикамц*, а предложный — *о летчиках*. Перебрали все падежи. Выходит, что форма *летчики* возможна только у именительного падежа множественного числа. Но ведь в предложении *Я бы в летчики пошел* подлежащее — личное местоимение *я*, а *в летчики* — дополнение, причем с предлогом, а дополнение не может стоять в именительном падеже. Но если *в летчики* — это не именительный и вообще не подходит ни под один известный падеж, то что же это? Неужели какой-нибудь новый, седьмой падеж?

Теперь, когда мы знаем, что язык изменяется вместе с развитием общества, что некоторые старые формы исчезают, а другие видоизменяются, приспособляются к новым условиям и выполняют важные функции в современном языке, эти вопросы нас не могут смутить. Мы понимаем, что надо заняться тем, чем занимаются археологи, — раскопками, но только «раскопками» в языке. Не являются ли эти малопонятные, необъяснимые с точки зрения современного языка факты следами, остатками системы древнерусского языка, языка наших предков?

Нам известно, что винительный падеж одушевленных существительных мужского рода сходен с родительным, а неодушевленных — с именительным.

Неодушевленные

И. стол, дом

Р. стола, дома

В. стол, дом

Одушевленные

брат, ученик

брата, ученика

брата, ученика

Но так было не всегда. В XI в., например, не было такой разницы между одушевленными и неодушевлен-

ными существительными и винительный падеж всегда совпадал с именительным. Тогда, например, говорили: *Выпусти ты свой муж, а я свой* ('своего воина, а я своего'); *повеле оседлати конь* (мы бы сказали коня) и т. д.

Постепенно у некоторых слов винительный падеж начинает совпадать с родительным. Однако старые формы сохранялись долго. Даже у писателей XVIII и XIX вв. можно встретить винительный, сходный с именительным (теперь у этих слов винительный совпадает с родительным). У Пушкина в «Сказке о золотом петушке» читаем:

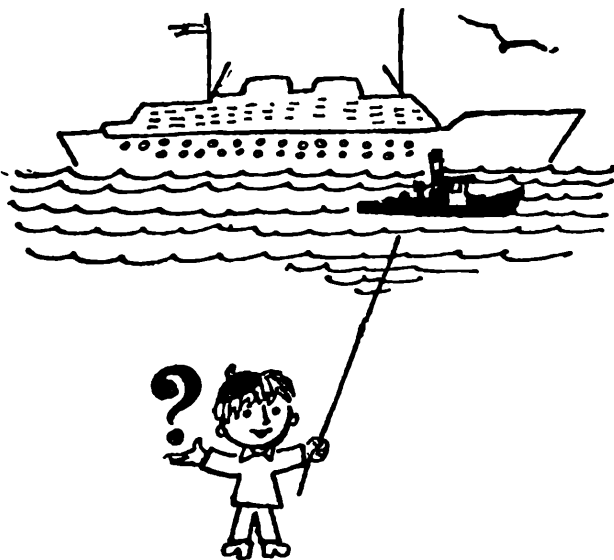
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на конь! Эй, живее!»

Знаете ли вы загадку: *Кто таков Иван Пятаков? Сел на конь и поехал в огонь?* Или в «Военных записках» знаменитого поэта-партизана, героя войны 1812 г. Дениса Давыдова: *...сел на конь и уехал; Мы вскочили на конь* (это выражение жило особенно долго). Нам кажутся странными, неправильными эти обороты потому, что мы привыкли видеть здесь винительный, сходный с родительным. И та же привычка скрывает от наших глаз странность, «неправильность» (с точки зрения современного языка) оборотов с винительным падежом типа *пошел в летчики, выбран в депутаты, записался в дружинники, поехал в гости*. Ведь «настоящий» винительный здесь — *летчиков, депутатов, дружинников, гостей*. Следовательно, это не седьмой падеж, а винительный, но сохранивший старую форму.

В многочисленных оборотах этого типа винительный сохраняет сходство с именительным, как и тысячу лет назад, когда существительные не подразделялись на одушевленные и неодушевленные, когда предложение *Я видел конь* звучало так же естественно, как *Я видел стол* в наше время. С течением времени винительный, сходный с родительным, употреблялся все чаще. Процесс замены был длительным. Не все слова одинаково легко и одновременно поддались изменению. Сначала родительный падеж усвоили имена собственные, затем слова мужского рода, обозначающие лиц: *князь, господин, отец*. Тогда уже писали: *Поищем себе князя* (вместо старого *князь*). А некоторые слова до сих пор сохраняют во множественном числе «привычки старины»

и решительно встают против всей системы склонения.

Но зачем же потребовалось заменять форму именительного падежа формой родительного? Дело в том, что при винительном, сходном с именительным, трудно было различать, говоря языком грамматики, «субъект» и «объект», т. е. действующее лицо и лицо, которое испытывает действие. Непонятно? Другими словами, трудно определить, где подлежащее, о чем идет речь в предложении, если оба существительных имеют одинаковую форму именительного падежа. Мы легко поймем затруднение наших предков, очутившись в подобном положении. Возьмем фразу *Сильно любила дочь мать*. Кто кого любил: дочь свою мать или мать свою дочь? Когда мы говорим *Буксир обогнал баржу*, ясно, что подлежащее — *буксир*, что говорят о его действиях. Но в предложении *Теплоход обогнал буксир* такой ясности нет, потому что у этих слов винительный совпадает с именительным. Нам трудно сказать, где подлежащее, где дополнение: форма слова здесь не помогает. Единственная надежда на порядок слов. Условились считать, что подлежащее в таких предложениях должно стоять на первом месте. Надежда слабая, так как в русском языке порядок слов относительно свободный, к тому же возможна инверсия, перестановка. Сейчас такие случаи сравнительно редки, а каково приходилось древним! Нашим предкам так же непонятно было предложение *Отец видит сын*, как нам *Мать видит дочь*. И вот для того, чтобы избежать этой путаницы, чтобы понять, кто кого видит (в нашем примере), где «субъект» (подлежащее), а где «объект» (дополнение), винительный падеж сменил форму именительного на форму родительного. И двусмысленное *Отец видит сын* превратилось или в *Отец видит сына*, или в *Сын видит отца* в зависимости от смысла.



Все же почему винительный получил сходство с родительным, а не с дательным или, скажем, творительным? Чем родительный лучше других падежей? Винительному наиболее близок родительный. Это легко наблюдать и сейчас. Так, прямое дополнение может стоять только в винительном падеже. Но при отрицании оно стоит в родительном падеже: *вижу стол — не вижу стола*. Оба падежа часто употребляются в похожих, близких по смыслу сочетаниях:

Винительный		Родительный
<i>купил хлеб</i>	—	<i>купил хлеба</i>
<i>выпил чай</i>	—	<i>выпил чаю</i>
<i>налил чернила</i>	—	<i>налил чернил</i>

Разница очень незначительна, небольшие смысловые оттенки; родительный показывает, что речь идет о части предмета, вещества (*выпил не весь чай, а немного, часть его и др.*).

Изменяется и совершенствуется наша грамматика. Все подчинено задаче точнее, полнее выразить мысль.

Вокруг местоимения...

История языка может многое объяснить. Например, почему мы склоняем: *он, его, ему, им* или *ей, ею* и т. п., а в речи прибавляем иногда к этим формам звук *н*: *пошел к нему* (ср.: *дал ему*), *зашел за ними* (ср.: *забыт ими*), *разговаривал с нею* (ср.: *куплен ею*) и др. «Пришел к ему», «беседовал с ими» — так говорят люди, незнакомые с нормами литературного языка. Когда же появляется начальное *н* и откуда оно берется? Понаблюдайте за местоимениями, и вы увидите, что *н* появляется после предлогов: *от них, к нему, с нею, за ними, вокруг них, перед нею, посреди них...* Но не после всех предлогов. После предлогов *благодаря, согласно, вопреки, на встречу* звук *н* не появляется.

Несколько столетий назад, в то время, рассказ о котором обычно начинают словами *жили-были*, предлоги *в, к* и *с* имели такой вид: *вън, кън, сън*, т. е. состояли из трех звуков (вроде наших *под, над*): двух согласных и одного особого, ослабленного, т. е. как бы «глухого», гласного — *ъ* (*ы*-образного звука). Старинный облик

этих предлогов лингвисты обнаруживают даже в некоторых словах сейчас. Так, слово *внутри* связано по происхождению с существительным *утроба*, а глагол *внушить* происходит от слова *ухо*. Древнерусский облик этих слов — *вънутри* (т. е. 'вън утробе') и *вънушить* (т. е. 'вън уши') — хорошо показывает, как выглядел предлог (приставка) *в* — *вън*. И тогда писали: *вън ее, кън ему, сън ими*. А затем предлоги упростились, приобрели постепенно современный вид: сначала *въ, къ, съ*, позже *в, к, с*. Ведь мы и теперь знаем предлоги, у которых то пропадает, то вновь появляется один или два звука (буквы) — *без* и *безо, над* — *надо, о* — *об* — *обо* и др.

Конечное *н* предлога так легко и прочно соединялось с начальной гласной местоимения, что в конце концов стало осознаться как часть этих местоимений, стало начинать местоимения, когда они стояли после предлогов.

Начальное *н* местоимений чувствует свою старую родственную связь с предлогом и появляется при наличии перед местоимением предлога. Нет предлога — нет и этого *н*.

До сих пор мы говорили лишь о трех предлогах — *в, к, с*. Только эти предлоги и имели на конце *н*. После других предлогов *н* в местоимениях стало появляться по аналогии.

Перед предлогами *благодаря, согласно, вопреки* и др. его нет потому, что они образовались сравнительно недавно из других частей речи и на эти предлоги пока закон аналогии не распространился.

Посмотрите еще раз внимательно на таблицу склонения местоимений 3-го лица. Что общего между основами именительного и косвенных падежей? У косвенных падежей есть еще что-то общее — *е* или *и* начальное, а именительный падеж стоит совершенно обособленно. У родственных слов обязательно должна быть общая часть, корень слова, например *стол* — *столица, застольный* и т. д. А здесь? Есть ли хоть одна общая буква у слов *он* и *ему* или *им*, у местоимений *она* и *ее, ей, ею*? Создается впечатление, что именительный падеж не связан с косвенными. Но ведь они считаются формами одного и того же слова. Опять загадка?

И снова история языка объясняет нам это явление.

В древнерусском языке для указания на лицо, о котором шла речь, употреблялись указательные местоимения — *и* (для мужского рода), *я* (для женского), *е* (для среднего), косвенные падежи которых (*его, ему, ей* и т. д.) сохранились до сих пор. Но и эти местоимения не вполне удовлетворяли наших предков. Можно легко заметить, что, к примеру, именительный падеж мужского рода *и* совпадал с союзом *и*, именительный падеж женского рода *я* — с личным местоимением 1-го лица *я*.

Чтобы избежать путаницы, чтобы скорее можно было понять друг друга, вместо *и, я, е* стали использовать именительный падеж другого (указательного) местоимения — *он, она, оно*; это указательное местоимение имело значение и склонялось, как местоимение *тот*:

- И. *он*
- Р. *оного*
- Д. *оному*
- Т. *оным*
- П. *об оном*

Таким образом и возникли две совершенно различные основы: именительный падеж — от одного указательного местоимения — *он, она, оно*; косвенные — от других, от старых *и, я, е*:

- И. *он*
- Р. *его*
- Д. *ему*

А что стало с формами косвенных падежей указательного местоимения *он, она, оно*, когда их покинул именительный падеж? Они долго еще употреблялись в своем основном, указательном значении, постепенно выходя из речи, но некоторые дожили и до наших дней. Мы и сейчас говорим: *во время оно, во времена оны* (эти формы отличались ударением), *оний гражданин* (в ироническом смысле) и т. п.

Немало «загадок» мы найдем и в склонении прилагательных, в «сложении» частей речи. Вероятно, вы уже замечали, что падежные окончания прилагательных

(вроде *синий*) очень похожи на косвенные падежи местоимений 3-го лица:

Р.	<i>синего</i>	<i>его</i>
Д.	<i>синему</i>	<i>ему</i>
	<i>синей</i>	<i>ей</i>
Т.	<i>синими</i>	<i>ими</i>

Что же объединяет прилагательные и местоимения?

В современном русском языке качественные прилагательные бывают и полными и краткими. Так было и в древнерусском языке, только там краткие прилагательные употреблялись значительно чаще, чем теперь. Они не только изменялись по родам и числам, но и склонялись (например, в мужском роде):

И.	<i>добръ молодец</i>
Р.	<i>добра молодца</i>
Д.	<i>добру молодцу</i> и т. д.

Сравните застывшие, превратившиеся в устойчивые сочетания: *по белу свету, на босу ногу, средь бела дня, мал мала меньше* и др. Надо еще сказать, что в женском роде краткие прилагательные оканчивались на *а* (*добра*), в среднем — на *о* (*добро*). Краткие прилагательные были возможны и в тех случаях, когда теперь употребляем только полные, например: *камень, камена, камено; деревянъ, деревяна, деревяно*. Поэтому и читаем в древнерусских памятниках: *теремъ камень, заложиша градъ деревянъ, бе бо уже время зимно* и т. п.

Краткие прилагательные в древности обозначали некоторый общий признак: *добръ молодец* обозначало вообще доброту какого-то молодца. Если же нужно было указать, что не какой-то вообще, а определенный, известный уже, этот молодец добр, то к краткому прилагательному присоединялось лично-указательное местоимение 3-го лица (о них уже было сказано) *и* (мужской род), *я* (женский род), *е* (средний род). Эти однобуквенные местоимения примерно соответствовали нашим *этот, эта, это*.

Таким образом получалось следующее соответствие:

<i>добръ+и</i> (человек)	— ‘этот человек добрый’
<i>добра+я</i> (девушка)	— ‘эта девушка добрая’
<i>добро+е</i> (сердце)	— ‘это сердце доброе’

Полные прилагательные образовывались:

в мужском роде: *добръ + и = добрый*

в женском роде: *добра + я = добрая*

в среднем роде: *добро + е = доброе*

Так же было и в косвенных падежах:

Р. *добра + его = добраего*

Д. *добру + ему = добруему* и т. д.

Как видим, полные прилагательные образовывались просто, но сам способ был громоздким. Поэтому скоро начались различные фонетические изменения, упрощения. Вместо первоначальных *добраего, синяего, добруему, синюему, добреи, синии* и т. д. стало *доброего, синего, доброму, синюму, доброй, синей* и т. д.

Вот что получилось из сложения двух частей речи.

Кем работает мама!

(ответ на письмо)

А письмо было интересное:

«...Я прочитал стихи С. Михалкова «А что у вас?»:

... наша мама
Отправляется в полет,
Потому что наша мама
Называется пилот.
С лесенки ответил Вова:
— Мама — летчик?
Что ж такого!
Вот у Коли, например,
Мама — милиционер
А у Толи и у Веры
Обе мамы — инженеры.
А у Левы мама — повар ...

и задумался над странной вещью, на которую раньше почему-то не обращал внимания: словами мужского рода *пилот, летчик, милиционер, повар* называют мам, т. е. женщин. Почему мы без затруднений говорим: *учитель — учительница, пионер — пионерка, ткач — ткачиха*, можно даже сказать *летчик — летчица*, но вот *инженер* — как сказать о женщине: «инженерка», «инженерша», «инженерица»? Не получается. У Пушкина еще равноправны *ткачиха* и *повариха*, а современный поэт

уже не пишет *У Левы мама повариха*. Иногда до смешного доходит: мы говорим *дойр — доярка*, но *овчар*. У слова *овчарка* другой смысл. Есть слова *техник, электрик*, но слова *техничка, электричка* не обозначают женщин соответствующей специальности. *Мельница* — это не женщина-мельник, а *мастерица* — не женщина на должности мастера.

Кто читал «Юрту Ворона» И. Ефремова, тот, наверно, помнит разговор старого рабочего Фомина с геологом Александровым.

Фомин насупился, вздохнул и, чтобы перевести разговор, спросил:

— Жена ваша, она тоже геологом работает?

— Да, — улыбнулся Александров, — настоящая геологиня!

— Как это вы сказали — геологиня? — переспросил Фомин.

— Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее.

— Почему правильнее?

— Да потому, что в царское время у женщины не было профессий и все специальности и профессии назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам оставались уменьшительные, я считаю, полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми пережитками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько же, сколько мужчин, и получается языковая бессмыслица: агроном пошла в поле, врач сделала операцию, или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли...

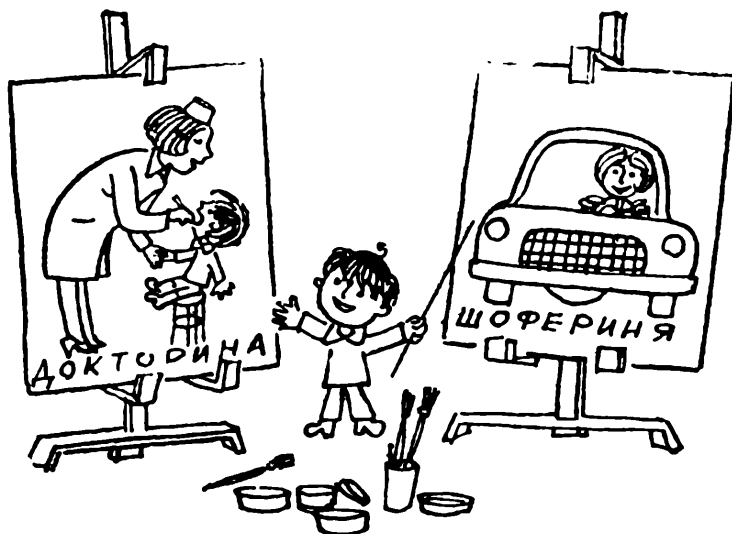
— А ведь занятно придумал, Кирилл Григорьевич! Мне в голову не приходило...

— Не я, а молодежь нас учит. У них верное чутье: называют геологиня, агрономиня, докториня, шофериня.

Правильно ли поступают герои повести? И когда язык отразит достигнутое в жизни равноправие полов?

Кроме того, у меня есть ряд конкретных вопросов:

1. Объявляя благодарность женщинам в приказах (даже по случаю 8 Марта), некоторые руково-



дители предприятий пишут: *Объявить благодарность кассиру, продавцу, классному руководителю...* Нельзя ли избежать этого?

2. На одном торжественном собрании чествовали наладчицу цеха и говорили о ней: *Мать, труженик, коммунист наладчица Иванова...* Не лучше ли просто: *труженица, коммунистка?*

На читательской конференции докладчик почти час говорил об *авторе*, а потом выяснилось, что книгу написала женщина.

3. Удобно ли говорить *врач поставил диагноз* (разумеется, о женщине)? И как быть, если со словом *врач* соединяется фамилия: *врач Петрова поставил* или *поставила диагноз?*

4. В одной статье я прочитала: *Она была не руководителем, а владычицей...*

Таких фактов можно привести немало. Не свидетельствуют ли они о некотором несовершенстве или бедности нашего языка?..»

В письме затронута интересная и вместе с тем очень сложная лингвистическая проблема. Сложна она потому, что здесь сталкиваются и противоречиво взаимодействуют различные факторы: смысловые, грамматические (морфолого-синтаксические), словообразовательные и стилистические. В письме тонко отмечено и удачно обозначено одно из распространенных явлений современного русского языка. Сомнения, недоумения и различные предложения в этой связи высказывались давно. Так,

еще в середине XIX в. один журналист спрашивал: «Не знаю, почему у нас нет слова *другиня*, т. е. друг женского пола... Это совсем не подруга, подружка, подруженька, которые веют на нас молодостью, и друг — не то, это мужчина. *Другиня*... могло бы быть самым почетным из всех званий женщины и даже девицы... у нас есть женские названия: *княгиня, героиня, богиня* от мужских *князь, герой и бог* (языческий). Почему же не быть *другине* от слова *друг*?» Известный журналист и филолог XIX в. Н. Греч в «Чтениях о русском языке» отметил: «Любопытно, что в русском языке имя *друг* употребляется только в мужском роде: видно, старики наши не слишком верили женской дружбе».

Слова типа *другиня* появлялись в разные времена у писателей, например у Пушкина. Слово *геологиня* распространено в среде геологов, его подхватили молодые писатели. Время от времени всплывают иные образования, и все-таки язык их не принимает — не принимает, казалось бы, вопреки всем разумным доводам. Мы говорим: *Эта доярка — Герой Социалистического Труда*, хотя в языке давно уже существует соответствующее слово женского рода — *героиня*. Появились такие обозначения профессий, как *мастер теплового узла* (хотя в языке есть слова *истопник* и *истопница*), *диспетчер лифтового хозяйства* (хотя есть *лифтер* и *лифтерша*) и др.

Это явление обстоятельно стало изучаться лингвистами сравнительно недавно. Да это и понятно: сама проблема возникла только в 20—30-е годы XX в. Социальные, внелингвистические причины явления ясны: резкое изменение общественного положения женщин, их широкое участие во всех сферах деятельности, овладение ими огромным количеством ранее исключительно «мужских» профессий. Это не могло не отразиться на языковой системе, поскольку новое содержание требовало для себя новых форм выражения.

В системе языка было три возможности:

1) предписать говорящим строго грамматическое согласование — *врач пришел* (даже когда речь идет о женщине);

2) предпочесть смысловое согласование — *врач пришла*;

3) воспользоваться суффиксальным словообразованием, найти суффикс, который бы «переводил» слово из

мужского рода в женский, т. е. придавал бы слову форму женского рода: *врач*+суффикс женского рода — *пришла*.

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки, свои «за» и «против».

Первый хорош строгостью формально-грамматического согласования — мужской род существительного и глагола. Плох тем, что содержит смысловое несоответствие: о женщине говорится как о мужчине.

Второй способ устраняет смысловое несоответствие, но оставляет грамматическое — мужской род существительного и женский род глагола. Другими словами, оба способа заключают в себе противоречие между грамматикой и смыслом, между формой и содержанием.

Казалось бы, естественнее всего для обозначения женщин по их профессиям третий путь — путь суффиксального словообразования, тем более что в распоряжении говорящих большой выбор суффиксов: *-к(а)* — *аспирантка*; *-ичк(а)* — *медичка*; *-иц(а)* — *буфетчица*; *-ниц(а)* — *учительница*; *-их(а)* — *ткачиха*; *-ш(а)* — *касирша*; *-н(а)* — *царевна*; *-ин(я)* — *графиня*; *-есс(а)* — *поэтесса*; *-ис(а)* — *актриса*; *-ин(а)* — *кузина* и др. И язык как будто пробует, пытается пойти по этому пути. Можно привести десятки слов, образованных с помощью этих суффиксов: *студентка*, *спортсменка*, *ударница*, *пловчиха*, *музыкантша*, *геологиня*, *поэтесса*, *директриса* и др.

Почему же все-таки на практике — в этом сейчас у лингвистов нет сомнения — победил второй способ?

Скажем сначала о недостатках суффиксального способа. Среди «женских» суффиксов много непродуктивных или малопродуктивных, т. е. с их помощью сейчас слова почти (или совсем) не образуются. Можно было, конечно, использовать продуктивные, например *-к(а)* или *-иц(а)*. Но продуктивные суффиксы чрезвычайно многозначны, они образуют названия женщин не только по профессиям: *соседка*, *пассажирка*, *динамовка*, *грузинка*, *фронтоничка*, *москвичка*, *лентяйка*, *интриганка*, *аристократка*, *комсомолка*, *нищенка*; *певица*, *страдалица*, *владычица*, *полковница* и многие другие. В словах с суффиксами *-ш(а)*, *-их(а)* на первый план выступает значение «жена лица, названного мотивирующим словом»: *генеральша*, *купчиха*, а в словах с суффиксом *-иц(а)* основное значение «самка животного»: *медведица*,

лисица и т. п. Наконец, почти все суффиксы стилистически окрашены и образуют слова с экспрессивно-стилистической окраской, например сниженной, просторечной: *врачиха, директриса*, или придают слову безвкусную претенциозность: *редактриса, критикесса*. Одним словом, эти суффиксы надо было еще семантически и стилистически приспособить. К тому же ни один из суффиксов не может претендовать на роль абсолютного, годного для всех слов показателя «женской профессии». Как это ни парадоксально, здесь трудно выбрать суффикс именно потому, что суффиксов много, — типичное «затруднение от избытка». Были и другие «внутриязыковые» причины, о которых на страницах этой книги невозможно рассказать. Скажем только, что на протяжении всей истории русского языка в тех случаях, когда возникал конфликт смысла и грамматики, побеждал смысл. Ср., например, слова мужского рода с женскими окончаниями: *воевода, владыка, судья, убийца, пьяница* и др. *Судья пришел* так же странно, как и *Врач пришла*, но мы привыкли.

Несколько слов о преимуществах второго способа. Грамматико-смысловое противоречие отчасти снимается тем, что мужской род здесь не является собственно мужским родом, не обусловлен полом. Сама эта категория рода развивается, меняет свой характер. Ведь когда мы говорим *повар* или *врач*, у нас в сознании не обязательно возникает образ мужчины. Мы уже привыкли к этой грамматической условности. *Требуется педагог* — всем понятно, что требуется не обязательно мужчина. Важно и другое: особенность того типа речи, в котором преимущественно эти слова употребляются, — научного и делового функциональных стилей. Чем дальше слово от научной и деловой сферы, от книжной речи, чем ближе бытовой сфере, тем вероятнее женское соответствие, и наоборот. Поэтому возможны *спортсменка, пионерка, лыжница* и др. Но нет женского соответствия для слов *автор, академик, министр, ординатор, онколог, социолог, энергетик* и др. Речь не идет о специфически женских профессиях (там нет слов мужского рода): *машинистка, маникюрша, сиделка* и др.

Коротко ответим на вопросы, поставленные в письме
1. *Кассир, продавец, класный руководитель* — точ-

ные обозначения профессий, вполне уместные (и даже законные) в официальной речи, в документе.

2. Мужской род *труженик, коммунист* придает высказыванию некоторую торжественность, стилистическую приподнятость. *Труженица, коммунистка* уместны в разговорном, но не в деловом, публицистическом стилях.

3. В строгой деловой или научной речи рекомендуется говорить *Врач поставил диагноз*, даже если речь идет о женщине-враче. В случае употребления здесь имени собственного сказуемое согласуется с ним, т. е. *Врач Петрова поставила диагноз*.

4. *Не руководителем, а владычицей...* — грамматическое противопоставление дополняет смысловой контраст и усиливает стилистическую выразительность всей фразы. И вообще появление тонких смысловых и стилистических различий у таких форм является не обеднением, а, напротив, обогащением языка. Непонимание этих различий, предпочтение во всех случаях чего-то одного действительно может вести к обеднению речи.

Тайна грамматического рода

Наши грамматики очень ошиблись, когда отнесли слова *доброта, нежность* и *снисходительность* к женскому роду, а *гнев, сумасшествие* и *каприз* — к мужскому и среднему.

Из альманаха «Цефей»

Шутки шутками, а действительно интересно, почему одни слова мужского рода, а другие — женского и среднего. И почему три рода, а не два и не пять? И почему в одних языках (русский, немецкий) три рода, в других (французский) — два, в третьих (английский) фактически нет ни одного?

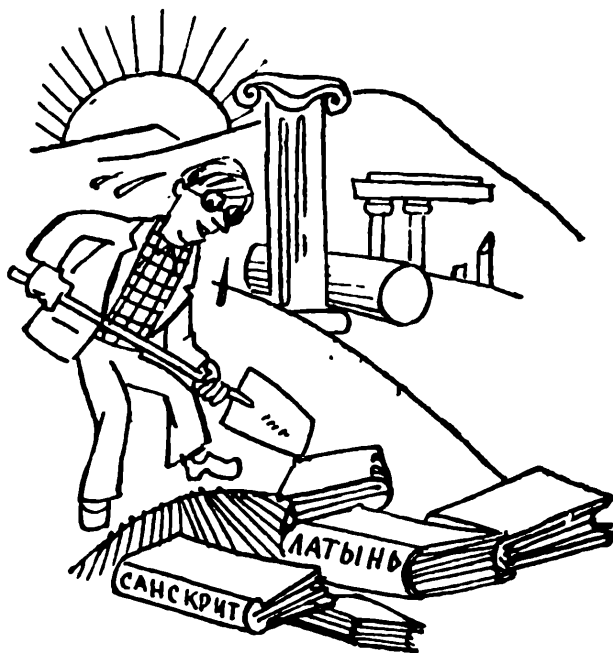
Легко сообразить, что слова *жена, мать, сестра* или *муж, отец, брат* распределяются по родам в зависимости от пола, т. е. от того, женщина или мужчина имеется в виду. Но почему *весна* — женского рода, а *лето* — среднего? Почему *дверь* женского, а *окно* — среднего? Род сотен, тысяч слов логически необъясним. Более того, слово женского рода может обозначать и живое существо мужского пола: *лисица, белка, обезьяна, акула* (одно обозначение для самца и самки, тогда как в дру-

гих случаях разные, ср.: *корова — бык, козел — коза, кот — кошка, медведь — медведица*). И наоборот, словом мужского рода мы называем женщин: *врач, директор, педагог, секретарь*. Одна и та же вещь, один и тот же предмет называется словом то одного, то другого рода; например, *живот* — мужского рода, а *брюхо* — среднего. Одни и те же слова (иногда с изменением значения и стилистической окраски) бывают разных родов: *зал и зала, жираф — жирафа* (независимо от пола), *скирд — скирда, рельс — рельса*.

Не меньше путаницы и в других языках. В немецком, например, даже слова *женщина (жена) (das Weib)* и *девочка (das Mädchen)* — среднего рода. Наблюдая эти факты, ученые задались вопросом: если слова распределяются по родам так нелогично и так непоследовательно, то какой смысл имеет категория грамматического рода? И другой вопрос: если некоторые языки легко обходятся без этой категории, то зачем она вообще нужна, как она образовалась? Так возникла необходимость обратиться к истокам. Но как это сделать?

Археологи обнаруживают остатки древних поселений, раскапывают старые захоронения, находят там различные вещи, которые служили когда-то людям. Эти вещи реальны, конкретны, их можно пощупать, осмотреть, изучить. А где «копать» лингвисту? Правда, у лингвиста есть древние рукописи. Но письменность возникла сравнительно недавно, а как проникнуть сквозь тысячелетия веков, заглянуть в те времена, когда люди не имели письменности (во всяком случае, нам о ней ничего не известно)?

Если нет прямых свидетельств, то, возможно, есть косвенные... Взрослый человек может представить, как он говорил в детстве, наблюдая других детей. А что, если



сравнивать разные языки? Ведь известно, что во многих из них есть общие черты, они могут быть близкими родственниками (как, например, русский и украинский) или дальними (санскрит — язык Древней Индии и английский). Ученые открыли даже родственные связи между отдельными семьями — семьей славянских языков (русский, польский, болгарский и др.), семьей романских (французский, итальянский, испанский и др.). Как распределяются по родам слова других языков? Как употребляются эти слова?

Естественно, что ответы на эти вопросы скорее всего могли дать языки, менее других подвергшиеся позднейшим изменениям. Поэтому ученые и заинтересовались самыми древними из известных нам языков.

Выдающийся французский лингвист конца XIX — начала XX в. Антуан Мейе, используя отчасти наблюдения других лингвистов, обратил внимание на тот факт, что в древних родственных языках стран Европы, Индии, Ирана (индоевропейских) слова различно оформляются, т. е. разделяются на типы, выделяются в две основные группы: в зависимости от того, рассматриваются предметы, явления как неодушевленные или как одушевленные. Продолжая наблюдение, он установил, что даже один и тот же предмет может быть назван по-разному: то словом класса неодушевленного (средний род), то словом класса одушевленного (мужской или женский род). Причем в таком словоупотреблении была обнаружена строгая последовательность и закономерность.

Так, в священной книге древних индусов Ригведе вода обозначается двумя разными словами: в тех случаях, когда вода рассматривается как вещество, т. е. в нашем обычном понимании (*Корабль плывет по воде*), используется слово среднего рода — *udán*, но как только вода оказывается движущимся, активно действующим предметом, вернее, его олицетворением (*Послушные воды остановились*), поэт пользуется словом женского рода (во множественном числе) — *ārah*.

В «Илиаде» Гомера (11-я песнь) описывается, как накануне грозной битвы перед полками троянцев

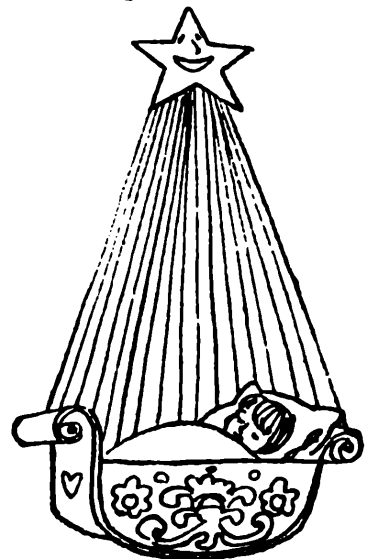
Гектор ходил впереди со щитом, во все стороны равным.
Как приносящая гибель звезда — то, меж туч появляясь,
Ярко сияет, то в тучах тенистых опять исчезает...

Здесь Гектор сравнивается со звездой, которая действует, движется, появляется и исчезает, т. е. является существом активным. И для обозначения ее Гомер использует одушевленное существительное — слово мужского рода *astēr*. Но ведь он мог бы использовать и другое, в его лексике было слово класса неодушевленного (среднего рода) — *astron*. Оно было широко употребительно, когда речь шла о звездах, понимаемых как материальные небесные тела.

Показательно, что существительное мужского рода *astēr*, всегда обозначавшее движущуюся звезду, переводится не только как 'звезда', но и как 'метеор, метеорит'. Кроме того, это слово может иметь также и определенный мистический смысл — небесное знамение, тогда как *astron* вполне материально, это и 'звезда', и вообще 'небесное светило'. Поэтому в выражении, скажем, *идти по звездам* употреблялось именно второе слово.

«Следовательно, — рассуждал А. Мейе, — в зависимости от того, как рассматривался один и тот же предмет — как вещь или как существо, способное действовать, — он мог получать два обозначения, одно — среднего рода, другое — одного из одушевленных родов (мужского или женского)... Это значит, что понимание тела как нечто материального (аналогичное современному цивилизованному пониманию) противопоставляется взгляду совершенно иному, согласно которому предметы и явления природы оказываются выражением внутренних сил, подобно тем, которые движут животными и людьми; представления о них сливались с религиозными представлениями, и этим силам приписывалось нечто божественное».

Звезды в разное время года меняют свое местоположение в небесном пространстве, ими руководствовались не только при определении сухопутных и морских маршрутов, но и при определении жизненных путей отдельных людей и целых народов. Выражений, так или иначе связанных со звездами (вроде *родиться под счастливой звездой*), не-





мало в любом языке. И в соответствии с таким духовно-мистическим пониманием звезды одушевлялись: почти во всех языках слово *звезда* мужского или женского рода (т. е. по древней классификации слово относилось к классу одушевленных слов).

Подтверждают ли выдвинутое предположение другие слова? В тех же языках, где вода олицетворяется и где поэтому для обозначения ее обязателен один из родов одушевленного класса, обнаружались аналогичные воззрения и на огонь.

Особенно интересен тот факт, что известное еще по мифам, по народным сказаниям противопоставление (или сопоставление) воды и огня отразилось и в языке: во многих языках *вода* — женского рода, *огонь* — мужского.

Обожествление огня было характерно для всех народов мира (хорошо известно, какое большое значение имел огонь для древнего человека). Почитание огня отразилось и в мифологических рассказах об огненном змее, об огненной птице, жар-птице, в обожествлении огня-молнии (культ Перуна у наших предков); огонь сопровождал бесчисленное множество самых разнообразных ритуалов. Это в особенности показательно для Древней Индии, где огонь — Агни — стал одним из главных божеств.



Заметим, что в тех странах, где господствовало материалистическое миропонимание, как, например, в Древней Греции, названия воды, огня и т. п. оказываются неодушевленными (среднего рода); у тех же народов, где сильны были религиозные взгляды на мир, как в Индии или в Древнем Риме, формы класса одушевленного обязательно берут верх, причем такие языки характеризуются также противопоставлением женского рода мужскому.

Одушевлялось, обожествлялось все то, перед чем человек был бессилён, что казалось ему неизвестным, что играло большую роль в его жизни. И это могли быть не только грозные явления природы. Обожествлялся, скажем, сон — эта могущественная сила, подчиняющая человека своей власти. До сих пор живёт выражение *в объятиях Морфея* (Морфей — бог сна у древних греков; отсюда слово *морфий*). Понятно поэтому, что слово *сон* в большинстве языков — мужского рода. А вот *сновидение* всегда было среднего рода. Когда в «Илиаде» Зевс вызывает сон и посылает его к Агамемнону, Гомер использует слово мужского рода *опеῖρος*, а не слово *опат* (среднего рода).

Подобно паре *огонь — вода* лингвисты отметили ряд других противопоставлений, например *день* (мужской род) — *ночь* (женский род), характерное для многих индоевропейских языков. Религиозно-мистический характер санскритского (санскрит — язык Древней Индии) обозначения света, дня вне всякого сомнения. Недаром Юпитер для римлян прежде всего бог света. Его называли Люцетиус (Светодающий). Мистический характер ночи ощущался ещё сильнее. Слова, обозначающие ночь, повсюду женского рода. В многочисленных сказаниях именно ночью действует нечистая сила; об этом же свидетельствуют и поговорки: *Будь не к ночи помянуто* и др.

Названия деревьев (особенно плодовых) в индоевропейских языках были женского рода, названия плодов — среднего (дерево рассматривалось как нечто рождающее, подчеркивалось женское начало). Так, в латинском языке грушевое дерево — *p̄rigus* (женского рода), а плод груши — *p̄rigum* (среднего рода). Аналогичный пример в русском языке: *яблоня — яблоко*. Вообще, в русском языке, кроме слов *дерево* и *растение*, нет других названий деревьев среднего рода (обобщающее родовое слово противопоставлено конкретным видам, которые одушевляются).

В разных языках противопоставлялись обозначения луны и солнца. Мужское начало солнца открывается нам в его имени (мужского рода) в Древней Руси — *Дажьбог*. Дажьбог — сын Сварога. В одном из древних текстов читаем: *Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть*

Дажьбогъ. Наконец, нельзя не заметить, что в большинстве языков слово *земля* — женского рода, тогда как *небо* — обычно мужского. Небу приписывалось мужское начало, земле — женское, производящее, рождающее. Во множестве сказаний, песен, пословиц *мать сыра земля* противопоставляется *небу-батюшке*.

Таким образом, «бесмысленная», казалось бы, в наше время категория рода является пережитком старых религиозных воззрений. Выдающийся советский лингвист академик В. В. Виноградов писал: «У подавляющего большинства имен существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком многоязыкового строя, когда в делении имен на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности».

Факт родовой принадлежности слова в обычной речи безразличен для говорящих, но в поэтической речи он предопределяет характер образа (олицетворения, сравнения). Так, у С. Есенина («Пороша»):

...Словно белою косынкой
Подвязалась сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку...

образ задан женским родом слова *сосна*. Будь *сосна* в русском языке мужского рода, все было бы иначе. Вот обычные для поэта образы: *Березки! Девушки-березки!* или *Пригорюнились девушки-ели...* С тем же постоянством нежное, пышное и яркое дерево — *клен* — представлено (из-за мужского рода слова) как *пьяный сторож*.

Ясно, что в разных языках род соответствующих слов может быть различным, поэтому при переводе стихотворений нередко разрушается или видоизменяется образный строй (а следовательно, и содержание). Академик Л. В. Щерба о стихотворении Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» (перевод из Г. Гейне, заметим, что в немецком языке *сосна* — *Fichtenbaum* — мужского рода) писал: «Для образа, созданного Лермонтовым, *сосна*... не совсем годится, между тем как для Гейне ботаническая порода дерева совершенно неважна, что доказывается, между прочим, тем, что дру-

гие русские переводчики перевели *Fichtenbaum* *кедром* (Тютчев, Фет, Майков), а другие даже *дубом* (Вейнберг). Зато совершенно очевидно уже из этих переводов, что мужской род ... не случаен. Лермонтов женским родом сосны отнял у образа всю его любовную устремленность и превратил сильную мужскую любовь в прекраснодушные мечты».

У Пушкина в переводе поэмы «Конрад Валенрод» (точнее, вступления) А. Мицкевича есть такие строки:

И всяк, переступивший воды,
Лишен был жизни иль свободы.
Лишь хмель литовских берегов,
Немецкой тополью плененный,
Через реку, меж тростников,
Переpravлялся дерзновенный,
Брегов противных достигал
И друга нежно обнимал.

Примечательна здесь старая грамматическая форма — женский род слова *тополь*. У Пушкина мы встречаем обе формы этого слова (и мужской и женский род). Подобные варианты есть и в современном языке (например, *зал* — *зала*). Многие устаревшие формы сейчас в изданиях произведений Пушкина заменяются, но эту форму «исправить» нельзя. Дело в том, что у Пушкина в данном случае женский род слова *тополь* противопоставлен мужскому роду слова *хмель*. Грамматические формы получают символический смысл. Пушкин сохраняет образный строй стихов Мицкевича (*тополь* — в польском языке женского рода).

Н. Асеев, который также переводил поэму, не обратил, видимо, внимания на родовую особенность слова *тополь* или не захотел с ней считаться. Он перевел:

Лишь ветка литовского дикого хмеля
К любимому тополю прусского края,
К заветной стремилась за Неманом цели.

Этот перевод, так сказать, буквальнее: у Мицкевича так и сказано — *ветка литовского хмеля*, но образное представление оказалось разрушенным (женский род слова *ветка* не спасает положения). Так, одна грамматическая особенность оказывается весьма существенной и для перевода, и для понимания поэтического текста.

Судьбы слов

Итак, занимаясь решением чисто языковой задачи, мы неожиданно пришли к миропониманию наших предков. Впрочем, так ли это неожиданно? Ведь язык тесно связан с мышлением, связан с судьбой, историей народа. Сопоставляя, сравнивая слова, мы можем проникнуть в глубь веков. Так, присматриваясь к слову *чернила*, мы видим в нем корень *черн-*, о котором мы почти забыли, говоря *красные, синие, зеленые чернила*. Глядя на оставшиеся еще в языке выражения *красна девица, красный угол* (в избе), мы догадываемся, что для наших предков *красный* — это 'красивый'.

В слове *работа* мы уже не слышим слова *раб*. А ведь когда-то рабочий и был фактически рабом. В деревне долгое время были *работники* (вспомним «Хозяин и работник» Л. Н. Толстого). Слово *рабочий*, появившись в середине прошлого века, стало вытеснять *работника, работного*. Слово *работник* удержалось в языке, потому что изменило свое значение. О людях умственного труда мы говорим: *научный работник, литературный работник*.

В русском языке есть *товарищ* и *товар*, как будто не связанные одно с другим. А как же было на самом деле? ...Бродили по Руси торговцы, покупали, продавали, носили и возили с собой разный *товар*. Но одному в путь отправляться было опасно, вот и выбирали себе *товарища*, который помогал товар сбывать. Потом слово *товарищ* получило значение 'друг, приятель' вообще, а не только в торговле, в путешествии. После Великой Октябрьской революции началась новая жизнь слова *товарищ*.

Слово *мужество* прямо соотносится со словом *муж* — 'человек, муж'. От него образовалось с помощью суффикса *-ик* слово *мужик* — в первичном значении 'маленький муж, мальчик'. Этим словом тогда же стали обозначать и мужчин «нижнего сословия», в частности жителей деревни, крестьян.

Если выражение *проявить мужество* имеет значение 'вести себя подобно мужчине, как подобает мужчине', то слово *робеть* связывается с поведением ребенка. Оно образовано от слова *робя* — 'ребенок' (звук *о* изменился в *е* в результате уподобления второму *е*). Собственно,

наше *ребенок* (из *робенок*) является закономерным образованием от *робя*.

Сравнение, сопоставление слов может выйти за пределы одного языка, и тогда открывается много общего и различного в миропонимании у разных народов. Слово, человеческая речь всегда казались людям явлением непостижимым, таинственным. Слову придавался особый, мистический смысл. Наиболее загадочными считались совпадения в звучании и значении слов, принадлежащих разным языкам. Для лингвистов же подобные совпадения представляются обычными и в некоторых случаях даже закономерными. Они установили родство целого ряда «далеких» языков, распределив их по группам. И мистический налет снят даже с самых мистических слов.

Анализ этих слов помогает дать реальное, атеистическое объяснение религиозным понятиям, лучше объяснить происхождение религиозных воззрений.

Например, что значит слово *бог*? «По религиозно-мистическим представлениям: верховное существо, управляющее миром...» — отвечает словарь. Но всегда ли так было? И какой смысл вкладывали первоначально в это понятие? На эти вопросы можно ответить, сравнив несколько родственных языков. Предков и родственников слова *бог* мы легко находим прежде всего в славянских языках, что свидетельствует о глубокой древности слова.

Обратившись к другим индоевропейским языкам, мы обнаруживаем, что славянское *бог* родственно древнеиндийскому *bhagaḥ*, которое обозначало 'богатство, счастье' и того, кто его дает, — 'податель, господин, владыка'. Древнеперсидское *bagā* — 'господь, бог' восходит к древнеиндийскому *bhājati* — 'наделяет, дает'.

Таким образом, ученые приходят к выводу, что первоначальный смысл слова *бог* — 'податель благ, наделяющий благом'. Значение же 'верховное мифическое существо' вторично, развилось в славянских языках позднее. Теперь уже не покажется случайным созвучие слов *бог* и *богатство*, *богатый* и *убогий*, в котором приставка *у-* имеет отрицательное значение. Отсюда становится понятным и смысл имени древнерусского Дажбога (или Дажьбога). Известный писатель XVIII в. М. Чулков в «Словаре русских суеверий» пояснял: «Даж-

бог — славянский, киевский бог, почитали его богом — подателем благ, а также еще богом богатства». *Дажь* — повелительная форма глагола *дати*.

Является ли такое представление о боге всеобщим или другие народы вкладывали в слово *бог* иной смысл? Лингвистический анализ слова может осветить даже такие факты, о которых молчат документы или вещи. Латынь обозначала бога словом *deus*. Соответствия ему лингвисты открыли в санскрите и других древних языках. Все эти слова, по-видимому, восходят к древней форме *deiwoś*. Но что могла она значить? Чтобы понять смысл этой формы, называвшей божество вообще, надо знать, что со словами, обозначающими бога, божество, группировались (оказывались близкими, родственными) слова, обозначающие небо и день. В латинском ряду с *deus* — 'бог' видим *dies* — 'день'. Наряду с литовским *dièvas* — 'бог' находим в финском языке *taivas* со значением 'небо'.

Эти и другие факты позволяют заключить, что мифический индоевропейский бог — нечто 'светящееся', существо 'светлое, небесное'. Санскритское слово, используемое в Древней Индии для обозначения света, светящегося, неба, дня, стало называть главного бога греков (Зевс) и римлян, которые, для того чтобы избежать односложности греческого слова, добавили к названию бога слово *pater* — 'отец' — *Jupiter* (Юпитер) — 'отец-небо'. Слово *pater* указывало на высокий сан, его употребляли, когда почтительно говорили о людях, о богах. Каждый народ выдумывал себе бога в соответствии со своими представлениями о мире.

Мир устроен так, что все в нем связано, все соотнесено. Так же и в языке, который отражает реальную действительность. Внимательно приглядываясь к словам, вы можете открыть для себя много интересного, проникнуть «в глубь веков».

Творцы новых слов

Сопоставляя слова, можно понять, как в прошлом происходило образование новых слов и вообще развитие языка. Впрочем, основные закономерности действуют и сейчас. Новые слова появляются непрерывно. Появилась новая вещь — ее нужно как-то обозначить, на-

звать. Иногда мы используем иностранное слово, иногда приспособливаем свое: у слова развивается новое значение или же новое слово образуется с помощью суффиксов и приставок.

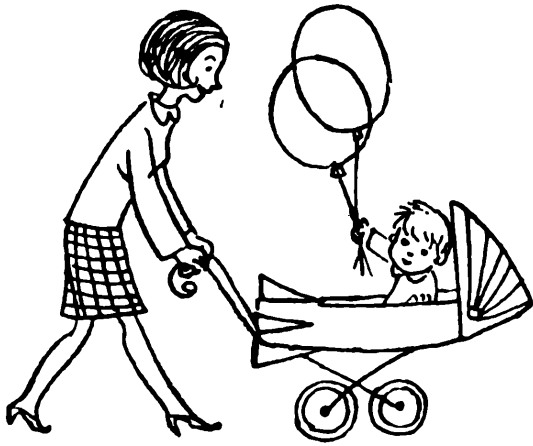
В. И. Лениным создан неологизм *партийность*. Употребив это слово в первый раз в работе «Экономическое содержание народничества», В. И. Ленин вынужден был его оговорить вводным *так сказать* и дать объяснение его значения: «С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы».

Творец языка — народ. Народ создает и узаконивает слова. Но ведь сначала кто-то один создает слово. Сначала оно кажется странным, потом к нему привыкают, и оно входит во всеобщее употребление. Когда слова «оседают» прочно, их создателей, как правило, забывают, но иногда они сами напоминают о своем «авторском праве».

Например, Н. М. Карамзин, впервые употребивший слово *промышленность* (*Везде знаки трудолюбия, промышленности, изобилия*), отнес примечание к новому слову: «Это слово сделалось ныне обыкновенным; автор употребил его первый». Позже ученые выяснили, что Н. М. Карамзин является создателем большого количества слов, вошедших в наш язык: *достопримечательность, утонченность, подозрительность, первоклассный, человечный* и др.

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» (1877) открыл нам историю глагола *стусеиваться*: «...всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И однако во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек — я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз — я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 года, в «Отечественных записках», в повести моей: «Двойник, приключения господина Голядкина».

И. Ильф и Е. Петров в повести «Тоня», рассказывая о первых холодильниках, не употребили слово *холодильник*: *В рефрижераторе у нее лежали ... три грейпфрута, яйца, бутылки с молоком, масло*. В другом месте



они вместо иностранного слова использовали словосочетание *холодильный шкаф*. Там же говорится, что детская колясочка ребенка Тони была похожа на ракету-спутник. Но использовано другое слово: *Тоня на целые дни увозила Вовку в его междупланетном снаряде в прекрасный парк*. Слово *спутник* (в значении 'искус-

ственный спутник Земли') распространилось совсем недавно. Тогда оно еще не было известно. А сейчас ни один писатель не написал бы *междупланетный снаряд* (без стилизации).

Много новых слов — индивидуально-стилистических неологизмов — создают поэты, писатели, журналисты. Но редкие из них получают права гражданства в общем языке.

Современник Пушкина, прозаик, которым зачитывалась вся Россия, дакабрист А. А. Бестужев-Марлинский в «Кавказских очерках» создал новое слово — *видопись*: *Никогда не забуду тебя, видопись алазанской долины* — и в примечании подчеркнул: «Волею или неволею, а должны принять господа уставщики кавык мое слово *видопись* вместо *пейзаж*, по крайней мере зауряд, до изобретения лучшего». Известный журналист того времени Сенковский сразу же отметил рождение нового слова: «Оно так счастливо, так согласно с духом языка, что будет принято с восхищением и благодарностью всею Россией. Если б автор не сказал, что оно ново, мы бы даже не заметили этого и были бы уверены, что оно родилось того же года, месяца и числа, как слово *живопись*. *Видопись* превосходно выражает и искусство пейзажиста, и самый пейзаж, т. е. вид страны».

Это был 1835 год. А в 1840 г. в «Чтениях о русском языке» Н. И. Греч констатировал: «В наше время сочинено было слово *видопись*, и сочинение его приписано гениальному писателю: оно не принялось на почве русского слова, и завяло вместе с листом журнала, на котором поднесли его русской публике...» И мы до сих

пор говорим *пейзаж* или *ландшафт*, хотя слово *видопись* как будто очень удачно.

Однако некоторым словам повезло: созданные «мастерами слова», они живут в общенародном языке. Расскажем о наиболее известных и ярких случаях.

Скучно Кондратию Трифоновичу, герою рассказа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Деревенская тишь». Одно развлечение — беседы с местным священником. Хоть и ничего умного батюшка не скажет, да мудроно говорит, любит слова с благо-: *благовонное кадило, благополезное дело, благоутробно, время не благопотребное*. Или изречет: *Во благовремении и пища невредительна бывает*.

«И откуда ты таким глупым словам выучился! Говорил бы просто: непотребное время! И не надоело тебе язык-то ломать!» — строго говорит Кондратий Трифонович. И пугает батюшку, рассказывая, что на днях Скуракин попа высек: «Да, брат, тоже вот все говорил: «о гресех» да «благоутробно» — ну, и высек».

Батюшка сердится: «Неблагообразно шутить изволите!» Открыто издевается над ним собеседник: «Ну, и опять тебе говорю: кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?»

Так, в 1863 г. родилось еще одно слово русского языка — *благоглупости*. Слово понравилось, стало популярным. В 70—80-е годы оно замелькало в разных изданиях, стало модным в публицистике. Известны и другие неологизмы Салтыкова-Щедрина: *пенкосниматель, злопыхательство, мягкотелый*. Первое время создателя помнили. Так, в повести Мамина-Сибиряка «Ранние восходы» мы встречаем ссылку на Салтыкова-Щедрина: «И вдруг в твоих письмах какое-то злопыхательство, как говорит Щедрин». Для говорящего это еще как бы слово-цитата. Теперь же большинство употребляющих данные слова даже и не догадывается о существовании их создателей.

Интересна судьба слова *елейный*. Наш современник, известный лингвист Ю. С. Сорокин в книге «Развитие словарного состава русского литературного языка» писал: «Переносное значение прилагательного *елейный* было подготовлено идущим еще от церковных книг образным применением слова *елей*» (*елэй* — оливковое масло, употребляющееся в церковном обиходе). В 40-е годы прошлого века В. Г. Белинский очень часто упо-

требляет слово *елейный* именно в положительном смысле. *Елейность* становится синонимом душевной теплоты, мягкости, кротости, деликатности. «В дальнейшем случилось то, — пишет Ю. С. Сорокин, — что нередко бывает с высокими по тональности книжными словами... Слова *елейный* и *елейность* не могли нейтрализоваться... — для этого они были слишком эмоциональны, слишком «качественны». Явилось другое — смена эмоций, связанных со словом, его смысловое «ухудшение»... вносится тот специфический оттенок, который... прочно сохраняется до нашего времени (приторно ласковый, искусственно мягкий, лицемерно угодливый)».

Белинский ввел в широкое употребление и слово *филистер*. Это слово заимствовано из немецкого языка. Сам критик объяснял его так: «Толпа есть собрание людей, живущих по *преданию* и рассуждающих по *авторитету*... Такие люди в Германии называются *филистерами*, и пока на русском языке не прищется для них учтвого выражения, будем называть их этим именем».

Пушкин, характеризуя Ленского, написал о нем: *Душой филистер геттингенский*. И ошибся: плохо понимал значение слова, связывал его с немецкими студентами и хотел сказать, что Ленский очень на них похож. На ошибку указали, и Пушкин в новом издании переработал стих.

Судьбы слов различны, как и судьбы людей.

Мы открываем континенты

Азия, Америка, Европа — привычные названия. Мы не задумываемся, откуда они взялись, как не задумываемся над происхождением слов *лес*, *дом*, *сон*. История названий континентов связана с их открытием, освоением. Если некоторые из них понятны любому образованному человеку (например, *Антарктика* легко распадается на две части: *анти* — ‘против’ и *арктикос* — ‘северный’ (греческое), т. е. материк и прилегающие к нему острова, расположенные «против» Арктики, против северных земель и морей), то происхождение других является тайной даже для специалистов.

Проще всего обстоит дело с названием Америки. Известно, что Христофор Колумб, открыв в 1492 г. новые земли, был убежден, что нашел новый путь в Индию.

Ошибку Колумба обнаружил в 1500 г. итальянский путешественник Америго Веспуччи, который несколько раз совершал путешествия к новому материку. Земли, открытые Колумбом, Америго Веспуччи назвал Новым светом, а в 1507 г. молодой ученый Вальдземюллер в своей книге «Введение в космографию» впервые употребил название — еще одна историческая несправедливость — *Америка*. На долю же Христофора Колумба осталась лишь небольшая часть материка — страна *Колумбия*.

В одной из древних скандинавских саг повествуется о большой земле, расположенной к западу от Гренландии. Это прекрасная, богатая страна. В ней растет виноград, это Винланд — 'страна вина'. Мало ли о чем говорит древний эпос! Сказание есть сказание. Это ведь не научные труды, а поэзия. Но однажды, в конце прошлого века, канадский фермер, обрабатывая свой земельный участок, нашел в земле камень. Эта глыба могла пригодиться в хозяйстве. Он привез ее на двор. Дождь и ветер очистили камень от глины, и тут обнаружилась на нем странная надпись. О находке сообщили ученым. Надпись прочли и удивились. Она гласила, что несколько готов и норвежцев, путешествуя из Винланда на запад, ловили рыбу «в одном дне пути к северу от этого камня». А дальше случилось нечто страшное: «Когда мы вернулись, нашли десять человек, обогранных кровью и мертвых. *AVM* (*ave virgo Maria* — приветствуем тебя, дева Мария), избавь от беды». Это был год 1362. На 130 лет раньше Колумба. Выходит, Винланд сказания — это не фантазия, значит, наверное, жители Северной Европы знали еще до Колумба о существовании Америки. Этот континент открывали несколько раз, и он, оказывается, имел несколько названий.

С Австралией же все произошло наоборот: материк еще не был открыт, а его название уже существовало. В древности считали, что где-то на юго-востоке находится огромный материк, который должен был уравновешивать земли Северного полушария. Его так и называли: *terra australis incognita*, что означало в переводе с латыни 'неизвестная южная земля'. В XVI в. после открытия ряда крупных островов в Тихом океане — Явы, Суматры, Борнео (ныне о. Калимантан), Целебеса — никто уже не сомневался в существовании Австралии.

Уверенность была столь сильной, что, увидев в Тихом океане какую-либо сушу, ее сразу принимали за южный материк. Так поступил испанец Менданья, открыв Соломоновы острова. Португалец Кирос, обнаружив Новые Гебриды, назвал новую землю «Австралией Духа Святого» и, чтобы раньше всех сообщить об открытии, тайком бежал в Перу на одном из кораблей, входивших в состав экспедиции. Португалец Торрес на двух оставшихся кораблях обследовал новооткрытые земли и убедился, что это острова, а не материк. Он двинулся дальше. Вскоре мореплаватели обнаружили пролив, отделяющий Новую Гвинею от подлинной Австралии (Торресов пролив). Об этом было послано донесение испанским властям на Филиппины. На новом материке надеялись найти горы золота и драгоценностей. Открытие Торреса (1606 г.) было строго засекречено. 150 лет мир не знал о нем. Англичане нашли донесения в архивах, захватив город Манилу на Филиппинах. В XVII в. постепенно было нанесено на карту почти все западное побережье. Эти огромные области называли Новой Голландией. Казалось, южнее уже невозможно спуститься — штормы и туман загораживали путь. Нужна была особая выдержка, смелость и находчивость, чтобы идти вперед и достичь цели. Окончательный ответ на вопрос о существовании земли у Южного полюса удалось дать русской южнополярной экспедиции «Востока» и «Мирного» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в 1820 г.

Похищение Европы — известный античный сюжет. Зевс, явившись в виде быка, похитил прекрасную дочь финикийского царя Агенора, игравшую с подругами на берегу моря. В одной из од Горация Венера предсказывает похищенной деве, Европе, что ее имя будет носить целая часть Земли. Это в поэзии, а историк знает, что в действительности по названию материка и дано имя богине. Слово *Европа* родилось в Азии. Лингвисты предполагают, что представление о Европе впервые возникло у финикийцев. Его выводят из семитского *эреб* — 'вечер, запад, мрак'. Жители Малой Азии другую сторону моря называли темной, вечерней стороной, стороной заходящего солнца. Естественно, такое название относилось первоначально не к материку в целом, а к непосредственно прилегающим территориям. В «Крат-

ком топонимическом словаре» В. А. Никонова (М., 1966) читаем: «Еще в III веке название *Европа* означало только небольшую римскую провинцию близ Дарданелл (Галлипольский полуостров и прилегающие местности). Современное содержание названия *Европа* очень позднее».

Название Азии также, бесспорно, семитского происхождения. Об источнике самого слова существует несколько гипотез. Одни выводят его из тохарского языка, другие думают о древнееврейских корнях. Наиболее вероятной кажется связь с ассирийским словом *асу* — 'восток'. Таким образом, Азия противопоставлялась Европе как восточная сторона, сторона восходящего солнца. И это название тоже сначала распространялось только на прибрежные районы.

Еще больше гипотез существует о происхождении Африки. Дидро и д'Аламбер в своей «Энциклопедии» разложили название континента на составляющие — *а* и *фрик*, что должно означать 'страна без холода'. Однако вероятнее другое предположение: римляне, как пишет немецкий ученый Шторфер, захватив северную часть Африки, назвали эту местность по имени одного из тамошних племен. То же мнение высказано и В. А. Никоновым в топонимическом словаре: «Древние греки и римляне называли ее *Ливия* по народу *либу*, жившему в средней части Средиземноморского побережья (сохранилось в названии современного государства Ливия). До н. э. южнее Карфагена обитало берберское племя *афригии* (*африди*); по нему римляне во II в. до н. э., завоевав Карфаген, назвали образованную там римскую провинцию *Africa* (территория современного Туниса). К началу средних веков это название распространилось на Алжир и Ливию, а с колониальными захватами европейцев — на весь материк».

Так люди открывали и познавали планету.

Географические названия вообще представляют большой интерес. Ведь за каждым из них история народа, населявшего ту или иную местность, и история ее научного исследования.

Поражаешься разнообразию географических названий. Смотрите, как много, например, названий городов, связанных с именем С. М. Кирова, — *Кировабад*, *Кироваван*, *Кировград*, *Кировоград*, *Кировск*, *Киров*. В назва-

ниях городов, морей, островов мы встречаем фамилии, имена исторических деятелей, например *море Лаптевых*, *остров Врангеля*, город *Загорск*, станции *Лев Толстой*, *Ерофей Павлович* (*Хабаров*), а иногда и простых людей, таких, как охотник Егор, — город *Игарка*, выросший на месте небольшого зимовья.

Многие географические названия, простые и понятные на первый взгляд, оказываются в действительности сложными и загадочными. В. А. Никонов в предисловии к топонимическому словарю писал: «Как раз особенно трудны те названия, которые большинству кажутся самыми понятными: река *Сосна*, *Черное море*, бывш. *Царское Село*. Всего опаснее доверяться внешнему сходству: оно обманчиво. Название села *Крещеный баран* (в левобережье Среднего Поволжья) не имеет никакого отношения к животноводству, как и *Петухово* к птицеводству или *Жуковка* к насекомым». И далее объяснял: «Если бы гидроним *Сосна* возник из русского нарицательного *сосна*, то по законам славянских языков он не мог иметь такой формы. За хвойные деревья по берегам реку могли назвать *Сосновая*, *Сосновка*, *Сосенка*, но не *Сосна*, ведь это означало бы тождество «река = сосна». В самом деле, в нашем языке, как и в других славянских, различные отношения слов, их соотношенность обозначаются суффиксами и др. грамматическими формами, что связано почти всегда с переоформлением, видоизменением слова. Многие привычные формы кажутся простыми и естественными только потому, что они привычны. В том же предисловии читаем: «Часто название кажется вполне знакомым, раз знаком (или кажется знакомым) его корень: «Нечего раздумывать над названиями *Ледовитый океан* и *Волгоград*, тут все ясно». Так ли? Почему *Ледовитый*, а не *Ледовый*, не *Ледяной*, не *Льдистый* и пр.? Почему *Волгоград*, а не *Волгогород* (*Новгород*, *Белгород*)? Почему город на Волге — *Волгоград*, а на реке Томь — *Томск*?»

Вопросов много, и весьма сложных. Тем более что с течением времени облик слова, географического названия меняется. *Охотское море* было названо так русскими казаками, проникшими на его берега в XVII в., не потому, что они там охотились, а по реке *Оката*, которая была переименована в *Охота* (кстати, у этого моря были и другие названия — *Ламское море* (в тунгусских язы-

ках *лам* значит 'море'), Амурское, Камчатское). Иногда под чужим, непривычным названием для нас может вдруг открыться нечто близкое, известное. Например, на северо-западе ГДР расположен живописный старинный город — *Шверин*. Это славянское обозначение — *Зверин* (от *зверь*) указывает на то, что некогда здесь обитали славянские племена. Другой пример. Из химии нам известно латинское название серебра. Но соотносим ли мы его с названием государства в Южной Америке — *Аргентина*? *Аргентина* значит 'серебряная'. Испанские завоеватели, впервые ступившие на эти земли, надеялись здесь найти сокровища. Себастьян Кабот, возглавлявший испанскую экспедицию в 1526 г., проник в глубь территории. Он был убежден, что легко разбогатеет, так как видел у индейцев племени гуарани большое количество разнообразных украшений из серебра. И река, и вся окружающая территория получили название *Ла-Плата* ('Серебряная'). Серебряные изделия легко было выменять у индейцев, но найти серебро не удалось. Богатые серебряные рудники находились далеко, в Боливии.

Наиболее трудными для объяснения оказываются для лингвистов слова древние, нередко наиболее известные — *Волга*, *Москва*, *Киев* и др. При этом всегда возникает множество легенд, фантастических сказаний и гипотез, вызванных естественным стремлением объяснить, мотивировать то или иное обозначение. Так, еще в «Повести временных лет» сделана попытка объяснить происхождение названия Киева: жили три брата — Кий, Щек и Хорив и сестра Лыбедь. Мало мы знаем о подвигах братьев, но достаточно и того, что основали город — «и створиша град во имя брата своего старейшего, и нарекоша имя ему Киев». Название Волги связывали и с наименованием птицы иволги, и с существительным *влага* и др.

Но не только легенды знает современная география, фантастика совсем иного рода, удивительные открытия привлекают наше внимание. Расскажу об одном.

Замечательный полярный исследователь Владимир Юльевич Визе участвовал во многих арктических экспедициях, но остров в Карском море, названный его именем, он открыл, сидя за письменным столом в своем кабинете. Внимательно изучая дрейф затертой во льдах «Св. Анны» (1912—1914), он обнаружил, что направле-

ние движения льдов заметно отклонялось от направления ветра. В. Ю. Визе заинтересовали записи в судовом журнале: «На горизонте много полыней», «Вокруг много полыней», то вдруг изменения: «Полыньи зажаты», «Полыньи уменьшились, а некоторые и совсем зажаты», «Полыньи все зажаты». «Чем вызывается такое состояние льда?» — размышлял Визе. Нет сомнения — причина в перемене ветра. На это указывают такие записи: «Восточным ветром начало разводиться полыньи», «Ветер перешел на NE и все полыньи опять развело». Итак, периодам разводья всегда соответствовал ветер с востока, а в периоды сжатия льдов ветер дул с запада. Значит, двигаясь с запада на восток, льды встречают какое-то препятствие. И Визе пишет в 1924 г. статью «О поверхностных течениях в Карском море», где приходит к выводу, что все изученные им факты «указывают на то, что льды, двигавшиеся под влиянием ветра, встречали какое-то препятствие, каковым прежде всего и можно принять близкую сушу». В 1930 г. экспедицией на ледоколе «Седов» остров был найден. Плавание на «Седове» помогло Визе сделать еще одно подобное открытие. Ледокол «Седов» встретил неожиданно большое скопление тяжелых льдов между параллелями $78^{\circ}33'N$ и $78^{\circ}17'N$, тогда как севернее льдов не было. В 1931 г. в статье «К вопросу об островах в северной части Карского моря» Визе с уверенностью писал: «Учитывая господствовавшие весной и летом восточные и северо-восточные ветры, можно найти только одно объяснение указанному скоплению льдов... к западу от района сплоченных льдов находится препятствие, которое задерживает льды, двигавшиеся под влиянием ветра с востока на запад. Этим препятствием может быть остров или очень мелкая банка...» Визе предположил, что неправильно был показан на картах остров Уединение, что впоследствии подтвердилось.

Перед учеными, изучающими лингвистическую географию, стоят не менее сложные задачи, и открытия их столь же интересны, как и открытия географов.

Истины и предрассудки¹ (диалог с отступлениями)

Критик: Стремительностью современной жизни сейчас объясняют все: мол, нет времени остановиться, оглянуться, некогда задуматься над тем, как говоришь, над тем, как надо говорить. Вот и портится и обедняется язык. Послушаешь молодежь — речь бедная, ошибка — пропасть. И вы, лингвисты, ничего не делаете, чтобы поднять культуру речи. Вот на днях встретил группу ребят, говорил с ними о названиях трав — трава и трава, а из каких растений она состоит, не знают. Спросил о птицах — воробей, ласточка, кукушка — и все.

Лингвист. А Вы бы их спросили об автомобильных двигателях или радиоприемниках: они рассказали бы больше, чем Вы знаете.

Критик. Слышал я их слова — *молоток, железно, предки, девчонки...* Почему нам и в голову не придет назвать Татьяну Ларину девчонкой?

Лингвист. А вспомните в «Евгении Онегине»:



¹ Этот раздел написан на основе реальных обсуждений, которые ведутся в печати.

Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране...

и насмешливое примечание Пушкина к последнему стиху: «Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха». Поэт имел в виду замечание Б. Федорова в «Санктпетербургском зрителе» (1828, № 4). Пушкин тогда писал, что Федоров «выговаривал мне за то, что я барышень благородных и, вероятно, чиновных называл девчонками (что, конечно, неучтиво), между тем как простую деревенскую девку назвал «девою»:

В избушке распевая, дева
Прядет...»

Критик. Вы думаете, только я говорю о словесной шелухе? Спросите родителей, учителей. Хорошо писал об этом писатель Б. Тимофеев: если школьнику, студенту что-то нравится, он скажет: *законно, потрясно, классно, блеск*. А ведь русский язык так богат. С помощью синонимов можно выразить тончайшие оттенки: *прекрасно, чудесно, восхитительно, великолепно, дивно, отменно, бесподобно, обворожительно, блистательно, волшебно...*

Лингвист. Так Вы хотите, чтобы современная молодая девушка говорила: *Я смотрела отменный, обворожительный фильм?* По мне, пусть лучше скажет *потрясный*.

Критик. Так Вам нравится молодежный жаргон?



Лингвист. Нет, не нравится. Я только против крайностей. Как-то раз «Пионерская правда» очень остроумно высмеяла школьный жаргон. В газетном фельетоне рассказывалось, как отбирали для космического полета трех мальчиков. Капитан звездолета спрашивает каждого, как они представляют себе свою задачу после посадки на другую планету.

«Один из мальчиков сказал:

— На этой законной посудине шмякнемся на этот шарик, потом, ясное дело, копыта кверху и хвост набок.

— Как, как?

— Ну отдохнем, поспим...

— Ясно. Продолжайте.

— А после прошвырнемся к этим лупоглазым потрепаться о культурном контакте...

— Довольно. Следующий!»

Первый мальчик не прошел, но и второй оказался не лучше:

«— Брякнусь на эту черепушку и сразу же отключусь на отдых. Потом похромаю к шестилапым насчет культурного обмена...»

А вот как говорит третий мальчик, речь которого выдается за образец:

«— Ракета превосходная, но все равно после посадки нужен отдых для восстановления сил. Потом можно отправляться к местным жителям с предложением культурного сотрудничества...»

Не дав этому идеальному оратору кончить, капитан в восторге заявил: «Достаточно. Вы приняты!»

А между тем газетное *нужен отдых для восстановления сил* в устах какого-нибудь семиклассника ничуть не лучше, чем *отключиться на отдых*. *Отправиться с предложением культурного сотрудничества* — так мог бы говорить дипломат, а не школьник. Выступая против одного, мы впадаем в другую крайность. Жаргон — это детская болезнь. Хуже, если ребята рано заболеют взрослой болезнью, которую К. И. Чуковский назвал канцелярит, если они станут говорить штампами деловой или газетной речи. Нужно уметь чувствовать и понимать особенности литературно-разговорной речи. А мы нередко под правильной речью понимаем речь, ориентированную исключительно на нормы книжно-письменного языка.

К р и т и к. Болезнь одна — отсутствие речевой культуры; проявляется она по-разному: сначала — жаргон молодежный, потом — жаргон канцелярский. А в итоге, как я и говорил, общее обеднение языка.

Л и н г в и с т. У Вас слишком мало данных для та-

кого обобщения. Язык может быть бедным у отдельных людей. Ваш взгляд субъективен.

К р и т и к. Да все дело в том, что таких людей много, а общий язык слагается из языка отдельных людей. А если хотите объективных данных, загляните в словарь «Новые слова и значения». Он издан в 1971 г. На девять десятых словарь состоит из иностранных слов: *аллерген, анид, арболит, клистрон, ралли, фибергласовый, визуальный* (зрительный, стало быть, устарело), *глобальный* (чем это лучше старого *всемирный?*), *дискретный* ('прерывистый'), *инкурабельный больной* (т. е. 'неизлечимый'), *эскалация* ('расширение'), *сенаж*. О словах типа *сенаж* писал Б. Тимофеев: «Большинство слов, употребляемых с окончанием на *аж*, — иностранного (главным образом французского) происхождения: *багаж, пейзаж, типаж, пассаж, каботаж, дренаж, плюмаж, саботаж* и т. д.

Русскому языку такое окончание несвойственно. Однако за последние годы появилось слово *подхалимаж* вместо русского *подхалимство* и возникло слово *листаж* вместо *объем книги*. Вот уж смесь «французского с нижегородским»!

Л и н г в и с т. А вот Горький был об этих словах другого мнения: «Процесс освоения иноязычных слов вполне законен тогда, когда чужие слова фонетически сродны освающему языку. За годы революции нами созданы и освоены десятки чужих слов, например, *листаж, типаж, вираж, монтаж, халтураж...*» (слышите, за годы революции, а не в последнее время!).

К р и т и к. Зачем же так упрощать вопрос — речь идет не об отдельных словах, а о принципе, т. е. о том, на что указывал еще Белинский: «И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать»...»

Л и н г в и с т. А я Вам приведу другую цитату: «Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных слов: опасение больше чем неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни старайтесь ввести его в употребление». Это тоже Белинский. И еще он очень хорошо сказал: «Слово *мокроступы* очень хо-

рошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом *галоши*; но ведь не насильно же заставить целый народ вместо *галоши* говорить *мокроступы*, если он этого не хочет!» И затем Белинский делает вывод: «Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем мысль, — и если чужое лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама».



К р и т и к. Это запрещенный прием. Вы подменили один вопрос другим. Никто и не хочет заменять такие иностранные слова, которые уже освоены языком: *кровать, свекла, руль* и т. п. Но зачем брать иностранное, когда, если не лениться, можно найти свое?

Л и н г в и с т. Вы сами себе противоречите. Хорошо. Я думаю, Вы согласитесь с А. Н. Толстым, который писал: «Известный процент иностранных слов возрастает в язык. И в каждом случае инстинкт художника должен определить эту меру иностранных слов, их необходимость. Лучше говорить «лифт», чем «самоподымальщик», «телефон», чем «дальнеразговорня», «пролетарий», чем «голодранцы», но там, где можно найти коренное русское слово — нужно его находить». Что же касается словаря новых слов, то, во-первых, там есть и русские...

К р и т и к. Да, например, *вкалывать, выкладываться, забегаловка, показуха*, все эти журналистские красоты — *веселинка, грустинка*.

Л и н г в и с т. Есть и прекрасные слова, например *запуржить, стыковка*. Во-вторых, почти все иностранные слова — это термины.

К р и т и к. А почему считается, что раз термин, значит, должно быть иностранное слово? Чем плохи русские термины *резец, маховик, осадок, топливо, паяльник, зажигание, шатун, датчик* и сотни других? Ведь сумели же мы заменить «аэроплан» *самолетом*, а «геликоптер» *вертолетом*. Русское *спутник* стало международным. Ведь нашли же мы прекрасное слово *тягач*, а могли бы взять какой-нибудь «трекер».



БУМАЖНЫЙ ЛОМ

Лингвист. Конечно, термин не обязательно должен быть иностранным словом, но все же чаще всего так. Вы не задумывались, почему это происходит?

Критик. Из-за умственной лени и незнания родного языка.

Лингвист. Нет, вопрос гораздо сложнее. Вот

что пишет писатель Б. Тимофеев, на которого Вы ссылались, о словосочетании *бумажный лом*: «Словосочетание, составленное по аналогии с *железным ломом*, явно неправильное; бумагу не ломают, а рвут. Однако найти в данном случае правильное и точное русское слово не так-то просто: *Бумажные бытовые отходы*? Длинно! *Бумажное вторичное сырье*? Еще длиннее! Придется, пожалуй, остановиться на иностранном слове *макулатура*». И это при всей нелюбви Б. Тимофеева к иностранным словам! Да, тут прежде всего нужно разобратся в особенностях, характере терминов.

Отступление 1. Слова науки и техники

Термины как будто ничем не отличаются от обычных слов: имеют определенное значение, грамматические категории, изменяются, употребляются, как все слова. Но термины обозначают научные, технические понятия, они обслуживают специальные области. И такое их назначение не могло не отразиться на характере этой большой группы слов. Давайте сравним, как ведут себя самые обыкновенные слова в общелитературном языке и в профессиональной речи.

Мы можем сказать: *Рабочий взял лопату, Ребенку купили лопатку. Лопатка* — это маленькая лопата. Но, имея в виду медицинский термин, обозначающий широкую треугольную кость в верхней части спины, мы только в шутку можем сказать: *У ребенка — лопатка, а у взрослого — лопата. Кулачок*, который находится на распределительном валу двигателя, может быть и большим

и маленьким. Но и большой кулачок — все *кулачок*, а не *кулак*. От прилагательного *тяжелый* можно образовать сравнительную степень *тяжелее*, но нельзя сказать: «У них тяжелое машиностроение, а у нас тяжелее». Нельзя сказать: «У сына большой круг кровообращения, а у отца — еще больше». Много или мало масла — все равно мы используем единственное число. Вообще известно, что от вещественных существительных множественное число не образуется. В литературном языке. А вот в профессиональной речи образуется: *масла, стали, граниты* и т. п. Даже род слова иногда меняется: *спазма* — обычное слово, *спазм* — медицинский термин. Аналогично *клавиша* — *клавиш*, *манжета* — *манжет* и др.

Таких особенностей можно было бы обнаружить немало. Но что же является самым важным, главным? Лингвисты определили три главные особенности термина. Во-первых, термин тесно связан с определенной научной областью: одно и то же слово в разных областях знаний имеет разный смысл (например, различные значения имеет слово *реакция* в медицине, химии и в политике; слово *диафрагма* у медиков, оптиков и др.). Во-вторых, и это важнее всего, термин в принципе однозначен (в данной сфере), тогда как общелитературные слова многозначны; синонимы в общелитературном языке свидетельствуют о богатстве, развитии языка, а синонимы в профессиональной речи — о слабости, о неразвитости, о неупорядоченности терминологии. В-третьих, содержание термина, как показала на ряде примеров современный исследователь языка В. П. Даниленко, «раскрывается посредством... точного, логического определения», а не выражается лексическим значением слова.

Например, в литературном языке слово *шум* имеет несколько значений: «1. Совокупность многочисленных звуков, быстро меняющихся по частоте и силе (глухие звуки, сливающиеся в однообразное звучание). Беспорядочное звучание многих голосов. 2. Крик, ссора, перебранка. 3. Толки, оживленное обсуждение, вызванные повышенным интересом к кому-, чему-либо. 4. Оживление, суета» и т. д. А в специальном, терминологическом словаре сказано коротко: «Шум. — Помеха, добавляющаяся к сигналу».

Установив эти особенности терминов, В. П. Даниленко определила и их практическую значимость, объяснив, в частности, одно «заблуждение ревнителей чистоты языка». Они считали терминологическое сочетание *национальный доход СССР* ошибочным. Они сопоставляли его с другими словосочетаниями: *национальная культура* — ‘культура нации’, *национальный язык* — ‘язык нации’, *национальный доход* — ‘доход нации’. СССР — многонациональное государство, так что о ‘доходе нации’ говорить нельзя. А между тем нельзя смешивать термин и свободное словосочетание. Термин *национальный доход* — это не ‘доход нации’, а ‘часть стоимости совокупного годового общественного продукта...’. Это оказывается решающим.

И В. П. Даниленко в результате многолетних изысканий приходит к выводу, что заимствование в терминологии естественно. Почему? Ответить можно вопросом на вопрос: что может обеспечить требуемую однозначность и изолированность термина — общеупотребительное слово или слово, «ничего не говорящее» нам? Слова общеупотребительные уже и без того многозначны, кроме того, они часто стилистически окрашены, несут в себе эмоционально-экспрессивные и иные оттенки, влекут целый ряд нежелательных для термина ассоциаций.

Языковое сознание легче примет новое слово, чем старое слово с новым значением, которое нередко представляется попросту искажением, порчей языка. Обычное слово, становясь термином, тянет за собой лексическое, даже буквальное значение, а слово чужое, неизвестное нам, без труда получает определенное значение. Кроме того, заимствованное (особенно греческого или латинского происхождения) слово легко входит в международную терминологическую систему.

Иностранное слово — термин — лишено и стилистической окраски, оно нейтрально. И это также оказывается достоинством в сравнении с отдельными русскими терминами, которые вызывают у нас то или иное эмоциональное отношение. Тот же Б. Тимофеев, отвергая слово *субпродукты*, вынужден признать, что русский его синоним — *ребуха* — все-таки «не очень красивое слово». Известно, что ребят, окончивших школу, отпугивают такие, например, названия очень нужных профессий, как

кишечник, убойщик, окуривальщик, потрошительщик, карманщик и др. А замените эти слова иностранными, выпускники могут и соблазниться. Конечно, свое, родное лучше иностранного (против этого общего принципа никто и не выступает), не к чему злоупотреблять иностранными сло-



вами, употреблять их без надобности, но только специалисты могут решить — нужны они или нет.

Ученые нередко принимают в качестве термина иностранное слово вовсе не из-за лени или нежелания поискать в родном языке равнозначное, вовсе не из-за преклонения перед иностранным: их заставляют так поступать объективные факторы, объективные особенности терминологии.

Крупные ученые долго и настойчиво ищут подходящее название для нового явления, ищут и в родном языке, и за его пределами. Это очень трудное дело. Американский ученый Норберт Винер так рассказывал о происхождении слова *кибернетика*: «Я упорно трудился, но с первых же шагов был озадачен необходимостью придумать наименование, чтобы обозначить предмет, о котором я писал. Вначале я попробовал найти какое-нибудь греческое слово, имеющее смысл «передающий сообщение», но я знал только слово *angelos*. В английском языке *angel* — это ангел. Слово *angelos* было, таким образом, занято и в моем случае могло только исказить смысл написанной мною книги. Тогда я стал искать нужное мне слово среди терминов, связанных с областью управления или регулирования. Единственное, что я смог подобрать, было греческое слово *kybernetes*, обозначающее «рулевой», «штурман». Я решил, что, поскольку слово, которое я отыскивал, будет употреблено по-английски, следует отдать предпочтение английскому произношению, а не греческому. Так я набрел на название *кибернетика*. Позднее я узнал, что еще в начале XIX в. это слово встречалось у французского физика

Ампера, но осмыслялось в социологическом плане... В слове *кибернетика* меня привлекло то, что оно больше всех других известных мне слов подходило для выражения идеи всеобъемлющего искусства регулирования и управления, применяемого в самых разнообразных областях».

* * *

Лингвист. Но, конечно, в чем-то вы правы: наш язык в целом действительно мог бы меньше пестреть иностранными словами.

Критик. Наконец-то Вы со мной согласились! Согласитесь же, что спасение в обращении к народным истокам, к народному языку, который неисчерпаемо богат. Я приведу только один характерный пример — рассказ В. Бокова:

Мы подошли с учительницей Полиной к дому бабки Труновой, чтобы поговорить с ее внучкой, не сыграет ли она роль в пьесе. Бабка появилась на крыльце с курицей, браня ее за какую-то оплошность.

— Где Люба? — спросил я.

— По батожья ушла.

— По что?

— Ну, по столбцы.

— По что?

— Ну, по петушки.

— По что? По что?

— По стебени.

— Не понимаю Вас.

— Ах, батюшки, какой ты бестолковый. По щавель!

Разве не замечательно — пять слов у этой крестьянки для названия одной вещи, тогда как мы и одного иной раз не знаем!

Лингвист. Да, пример замечательный, но это диалектизмы...

Критик. Ваша борьба за культуру речи — это способ задавить народное слово, которое для Вас — мусор, а для меня — золото.

Лингвист. Ваш выпад против лингвистов объясняю отчасти полемическим задором, отчасти милым невежеством, именно лингвисты скрупулезно изучают народную речь, по крупицам собирают ее, составляют и издают диалектные словари.

К р и т и к. Да вы посмотрите, что в литературе делается: писателю не дают употребить народное слово, сейчас же окрик — «областное», «провинциализм».

Л и н г в и с т. Может быть, это и правильно. Еще Чехов говорил, что лакеи должны говорить без *пушай* и *таперича*. Но при чем здесь лингвисты?

К р и т и к. Как при чем? А кто вводит в словарях запретительные пометы? Кто предостерегает русский народ от употребления слов, которые опорочены — «нелитературное», «простонародное» и т. д.? А. Югов справедливо возмущается: «У нас вошло в дурной лексикографический обычай пятнать словарь русского народа неодобрительными и даже прямо запретительными пометами: «просторечное», «областное», «разговорное», «устарелое»...»

Л и н г в и с т. Что Вам здесь не нравится? Давайте говорить конкретно.

К р и т и к. Конкретно, пожалуйста! А. Югов привел много примеров. Я считаю, что это горсточка улик. *Непогодь* — областное; *пробуришь* — «спец.», т. е. специальное, *одёжа* — неграмотное; *прясло* — областное, запрещается также *беремя*, *хлебать*, *пособить*.

Л и н г в и с т. Но ведь *прясло* — это действительно диалектизм, а *пособить* — нелитературная форма. *Одёжа* — так обычно не говорят.

К р и т и к. *Пособить* нелитературное? А примеры в словаре из самой что ни на есть прекрасной литературы — из Крылова и Гоголя. *Прясло* — областное, а примеры из Кольцова и Александра Блока. Какая же из областей нашего отечества является счастливым обладателем этого слова? Кто из русских не знает его? *Одежа* неграмотно? А если я Вам приведу пример из Чехова? Что Вы на это скажете? Да, да, Вы меня не поймаете, я имею в виду употребление таких слов в авторской речи, а не в речи персонажей!

Л и н г в и с т. Неважно, авторская речь тоже не является однородной, она нередко бывает насыщена, как говорят литературоведы, «голосами героев». Но не в этом дело. Правда, до сути добраться нелегко — так все запутано в Ваших рассуждениях, просто клубок противоречий. Кстати, если уж кто и осуждал «провинциализм» в литературе, то не лингвисты, а сами мастера слова. Белинский очень точно писал: «Избегая книжно-

го языка, не должно слишком гоняться и за мужицким наречием...»

К р и т и к. Если вспоминать Белинского, надо цитировать то, как резко он выступал против разделения слов на высокие и низкие и против того, что «фальшивый вкус строго запрещал употребление последних».

Л и н г в и с т. А Вы забыли борьбу Горького против писания «по-балахонски»?

К р и т и к. Ну вот, всегда так! Всегда лингвисты берут на вооружение Горького. А ведь он был против — и совершенно справедливо! — злоупотребления уродливыми словами вроде *пыжжай* и *подъелдыкивать*. Что же касается отношения Алексея Максимовича к народному языку, то здесь разные толкования невозможны. Его взгляды ясные и четкие: «Писатель, не обладающий знаниями фольклора, — плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен... Я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать сказки русские, былины, сборники песен... Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне... Вникайте в творчество народное, это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создает образ двумя, тремя словами».

Л и н г в и с т. Вы меня не поняли. Давайте разбираться по порядку. Вы стоите за чистоту языка. Мы тоже за культуру речи. Культура речи — это следование определенным нормам. Задача, следовательно, в том, чтобы установить эти нормы.

К р и т и к. Все борются за чистоту языка! Никто не против этого. Все согласны: надо беречь язык, да только понимает это каждый по-своему. Я не против норм, я только против ваших норм, против узких рамок. Я за свободу словоупотребления, за лозунг: «Весь язык русского народа литературен». Все слова равноправны. Только одни попали в литературу вчера, а другие попадут завтра. Это потенциально литературные слова.

Л и н г в и с т. Вы дважды противоречите себе. Вы говорите, что не против норм вообще, что только хотите

их расширить. Но в то же время Вы готовы допустить все. Но если все возможно, если все допустимо, тогда о каких нормах может идти речь? Другое противоречие: Вы как будто стремитесь к яркости, выразительности речи, а фактически «всеобщее равноправие» слов уничтожает словесные краски. Ведь что такое словарные пометы «высокое», «книжное», «разговорное», «просторечное»? Это обозначения стилистической окраски слова. Это языковые краски. Это богатство любого развитого языка. Вот в примитивном языке все безлико, там полное равноправие слов.

К р и т и к. Вы имеете в виду краски, которые приготовлены лингвистами из Академии наук?

Л и н г в и с т. Ирония бьет мимо цели. Пусть Вам ответит Карамзин: «Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новыя, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют: надобно только открыть или показать оныя».

Нашей лексикографы, составители словарей стараются максимально точно, добросовестно зафиксировать то, что реально есть в языке. А в развитом языке существует несколько слов для выражения одной идеи, одного понятия. Это синонимы. Язык не терпит двух совершенно одинаковых слов, поэтому мы видим, что синонимы отличаются либо оттенками значений, либо употребительностью — одни чаще, другие реже. Чем реже слово употребляется, тем оно «необычнее», т. е. тем ярче его стилистическая окраска. Наиболее типично такое соотношение: книжное — нейтральное — разговорное, например *очи—глаза—буркалы* и т. д. Когда слово начинает чаще употребляться, оно теряет свою окраску, становится обычным, нейтральным. Когда оно начинает реже употребляться, оно приобретает окраску («устарелое», «поэтическое» и т. д.). Имеет значение и то, где употребляется слово, в каких условиях. То, что в данный момент находится в употреблении всего общества, входит в норму; то, что употребляется редко или в ограниченной, сравнительно узкой среде, находится на

периферии или даже за пределами литературного языка (диалектизмы, профессиональные слова, жаргонные).

К р и т и к. Но почему же Вы пропустили самое ценное — то, что говорит Карамзин о роли таланта, т. е. писателя, в обогащении языка? Талант самовластно использует слово. Пусть я в чем-то ошибаюсь, но разве Ваше ученое запретительство лучше? Учите нормам школьников, но не вторгайтесь в литературный язык. Разве пригаженность, стандартизация лучше? Не я призываю уничтожить краски языка. Их уничтожает Ваша нормализация. Редакторы, корректоры — все исправляют писателя: не то слово употребил, неграмотное, просторечное. На Гоголя нападали за ошибки, и как хороша отповедь Белинского: «Господа! Не пора ли бросить эту старую замашку?.. У какого писателя нет ошибок против грамматики — да только чьей — вот вопрос! Карамзин сам был грамматика, перед которой все ваши грамматики ничего не значат. Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик».

Л и н г в и с т. Вы смешали разные понятия: литературный язык и язык литературы (художественной), который понимается в данном случае как индивидуальный стиль писателя. Литературный язык обслуживает разнообразные культурные нужды народа, это язык книг, печати, радио, науки и т. д. О его нормах я говорил. Иное дело — индивидуальный стиль писателя. Здесь свои нормы, их устанавливает для себя сам писатель, здесь нет иного критерия, кроме «чувства соразмерности и сообразности», как говорил Пушкин. Чем строже нормы, тем выразительнее каждое обоснованное отступление от них, в том числе и в языке писателя. Но Вы затронули интересный вопрос...

Отступление 2. Специфика ошибки

Наше представление о «хорошем стиле» приходится решительно менять, когда мы от бытовой или деловой речи переходим к художественной. Вполне правильная, гладкая речь в художественном произведении может и не быть его достоинством. Нарушения стилистических норм могут не быть ошибкой, напротив, они подчас служат средством выразительности текста.

Мопассан писал: «Обычно широкая публика называет «формой» определенное благозвучие слов, расположенных в закругленные периоды, фразы со звучным вступлением и мелодическим понижением интонации в конце... Форма бесконечно разнообразна, как и те ощущения, впечатления и чувства, которые она облекает, будучи неотделимой от них. Она соответствует всем их изгибам и проявлениям, находя единственное и точное слово, нужное для их выражения, особый размер и ритм, необходимый в каждом отдельном случае для каждой вещи, и создает в этом неразрывном единстве то, что писатели называют стилем, причем этот стиль совсем не похож на тот, которым принято восхищаться».

Поэтому критики, приводя примеры стилистических ошибок у писателей, совершают ту ошибку, которая в логике называется «подменой понятия». Точно так же неверно считать «стилистом» писателя, который строит «благозвучные» фразы. Увы! Как часто язык писателя оценивается с этих позиций!

Особенно показательны споры, разгоревшиеся вокруг стиля Гоголя, у которого критики отмечали «неопытность, шаткость в языке, а иногда и явное незнание грамматики». Н. Полевой в 1842 г. в «Русском вестнике», разбирая «Мертвые души», спрашивал: «Где вы слышали следующие, например, слова на святой Руси: «в эту приятность чересчур *передано* сахару» — «болтая головою» — «*встретил* отворяющуюся дверь» — «*здоровье прыскало* с лица его» — «*юркость* характера» — «пропал, как *волдырь* на воде»... «они *изопьются* и будут *стельки*» — «*краюшка уха* его скручивалась» — «*сап* лошадей, *шум* колес» — «седой *чапыжник*, густою щетиною вытыкавший из-за ивы»? Мы могли бы усотерить примеры, но в приведенных нами немногих не видите ли вы вашего незнания русского народного языка? По-русски говорится *переложить сахару*, а *передать сахару* не русская фраза вроде *хорошо выглядит*; головой у нас *качают*, а не *болтают*; *встретить* можно только то, что идет навстречу; на воде вскакивают *пузыри*, а *волдырь* говорится о пузыре или шишке на теле; говорится у нас: *пьян как стелька*, а не говорится: он *стелька*, потому что просто *стелька* означает совсем другое; *краюшка*, говоря об ушах, не употребляется; *сап* значит болезнь лошадей, а не сопение; ко-

леса у нас *скрыпят, стучат*, а не *шумят*; *чапыжник* значит мелкий срубленный кустарник, а не растущий, и где вы слышали слова: *прыскало здоровье, юркость нрава* (а не характера)... в том значении, в каком вы их употребляете? Никто не отвергает обогащения языка простонародными словами, но для того надобно знать язык простонародный, иметь вкус, а еще более хорошо узнать науку русского слова».

Один из современников Гоголя Ф. В. Чижев отмечал в своем дневнике (1847) ошибки Гоголя в I главе «Мертвых душ»: «Сидел... ни слишком толст, ни слишком тонок» — нельзя по всей строгости сказать без глагола был. Сокращенные прилагательные всегда подразумевают глагол; следовательно, если нет глагола, подразумевается есть и не ладится с прошедшим временем... «Он выбежал весь длинный» — не по-русски... «Запах, который был сообщен» — будто бы тут «сообщен»... «Заснул два часа». «Заснул» нельзя сказать сколько или, если можно, то неопределенно...»

И тот же Ф. В. Чижев признавался позднее: «Минутами я беру в руки «Мертвые души» Гоголя и беспрестанно прошу внутренне извинения у нашего истинного таланта. Не знаю, с чего мне показался дурным и несовершенным его язык. Теперь он мне кажется превосходным. Нигде, решительно нигде я не заметил, чтобы он выходил за пределы, требуемые предметом. Везде он в рамках рассказа, везде сам язык ровно в ладу с содержанием и с ходом дела».

Самому А. С. Пушкину приходилось оправдывать и защищать особенности своего словоупотребления. В 1828 г. в журнале «Атеней» (№ 4, ч. 1) был помещен строгий разбор двух глав «Евгения Онегина»:

«Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

Трудно понять, кто кого одевает: тень ли бури одевается днем или день одевается тенью? Притом посудим, что такое тень бури?..

На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод ... —

критик иронически замечает,— не уплывет далеко на красных лапках. Неверно также выражение: плыть по лону; лоно означает глубину, недро...»

Раздосадованный Пушкин набросал «Возражение на статью «Атенея», где саркастически замечал: «Из 291 мелочи многие достойны осуждения, многие не требуют от автора милостивого отеческого заступления,— вольно всякому хвалить и порицать все, что относится ко вкусу. Но критик ошибся, указывая на некоторые погрешности противу языка и смысла. И я решился объяснить ему правила грамматики и риторики не столько для собственной его пользы, как для назидания молодых словесников». И писал, о первом из приведенных двустий: «Там, где сходство именительного падежа с винительным может произвести двусмыслие, должно по крайней мере писать все предложение в естественном его порядке...» (Мы и сейчас, когда прямое дополнение по форме совпадает с подлежащим, стараемся подлежащее ставить в начале предложения, а дополнение — после сказуемого, например: *Весло задело платье; Локомотивы мчат составы* (газетный заголовок); *Грузовик везет на буксире легковой автомобиль; День сменяет ночь* и т. п.) «Лонно не означает глубины, лоно значит *грудь*».

В отношении других замечаний критика Пушкин выдвигал также обоснованные аргументы:

«Младой и свежий поцелуй

вместо поцелуй молодых и свежих уст — очень простая метафора...

Кибитка удалая

Опять метафора.

Людская молвь и конский топ.

Выражение сказочное (Бова Королевич).

Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка.

«Как приятно будет читать роп вм. ропот, топ вм. топот» и проч. На сие замечу моему критику, что роп, топ и проч. употребляются простолюдинами во многих русских губерниях — ... мне случалось также слышать стукот вместо стук».

Особенно любопытно тонкое грамматическое замечание Пушкина об употреблении родительного или винительного после глаголов с отрицанием. Критик усмотрел ошибку в стихе:

Два века ссорить не хочу —

и заметил: «Кажется, есть правило об отрицании *не...*» Ему казалось, что правильно было бы *двух веков*. Мы сами часто затрудняемся в выборе формы: *не принес молоко* или *не принес молока*; *не видел газету* или *не видел газеты*; *не сдал экзамены* или *не сдал экзаменов*?

Пушкин объяснял: «Грамматика наша еще не пояснена (спорным вопрос остается до сих пор. — В. О.)... в чем состоит правило: что действительный глагол, непосредственно управляемый частицею *не*, требует вместо винительного падежа родительного. Например — я не пишу *стихов*. — Но если действительный глагол зависит не от отрицательной частицы, но от другой части речи, управляемой ею частицею, то он требует падежа винительного, например: Я не хочу писать стихи, я не способен писать стихи. В следующем предложении — Я не могу позволить ему начать писать *стихи* — ужели частица *не* управляет глаголом писать?»

Если критик об этом подумает, то, вероятно, со мною согласится».

Нельзя не согласиться. Но дело даже не в этих грамматических тонкостях. Иные должны быть критерии, принципы оценки языка художника — это было ясно современникам поэта. Так, «Московский вестник» (1828, ч. 8, № 5) писал:

«У всякого художественного произведения есть точка, одна точка, с которой оно представляется во всем своем величии. Взгляните вблизи на декорацию Гонзаго, это — мазанье; но из кресел, в надлежащем расстоянии, освещенное, оно чарует нас. Многие ошибаются в своих суждениях потому, что не попадают в точку, с которой должно смотреть на произведение.

В «Атенее» кто-то насчитал множество ошибочных выражений в «Онегине». Читал ли г. Критик, занимаясь старыми своими грамматиками, прочие стихотворения Пушкина? Заметил ли он, что у Пушкина особое достоинство — верность и точность выражения, и что

это достоинство принадлежит ему предпочтительно перед всеми нашими поэтами? Пушкин, следовательно, мог, если бы захотел, избежать тех ошибок, в которых его упрекают (впрочем, из замеченного только $\frac{1}{10}$ справедливо), но у него именно, кажется, было целию оставить на этом произведении печать совершенной свободы и непринужденности. Он рассказывает вам роман первыми словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении «Онегин» есть феномен в истории русского языка и стихосложения».

Издатель произведений Пушкина Морозов в фразе из «Капитанской дочки» ...*Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее. (Маша кинулась ему на шею, и зарыдала)*. устранил скобки и последнюю запятую. В. И. Чернышев заметил, что в этом случае получилось, что Маша бросилась на шею отцу после того, как он договорил речь. Но тогда непонятна эта настойчивая просьба капитана: *уведи же...* Запятая же после слова *шею*, столь, казалось бы, неудачная между однородными сказуемыми, указывала, по мнению В. И. Чернышева, на «разделение действий, из которых второе следовало не тотчас за первым, но с некоторым промежутком... Она некоторое время сдерживалась, крепилась — и все-таки зарыдала. Вот как мы выразили бы тот смысл фразы, который придается ей пушкинской запятой».

А. А. Блок в 1909 г. в письме к С. К. Маковскому замечал: «Для меня дело обстоит вот как: всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах *не случайна*, за ней скрывается то, чем я *внутренне* не могу пожертвовать; иначе говоря, мне так «поется», я не имею силы прибавить, например, местоимение к строке «вернув бывалую красу» в «Успении» (сказать, например, «вернув *ей* прежнюю красу» — не могу — не то). Далее, я не говорю, что это так *навсегда*; очень может быть, что, отойдя от стихотворения на известное расстояние, я смогу без жертвы найти эквивалент некоторым строкам — более «грамотный»...

Вот несколько характерных примеров постановки тире в романе Горького «Мать»: *А вот нет его, и — ничего нет; Наступил вечер. И — ночь* (это не просто информация о течении времени, тире передает напряженность ожидания матери после ареста Павла); *И было*

в нем [Рыбине] что-то напоминавшее ей мужа ее... в том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но немая. Этот — говорил (тире усиливает противопоставление); ...который хорошо сделал трудную работу и — доволен; ...оглянулась — родственники подсудимых подходили к решетке (так передается восприятие героини; тире заменяет пропущенное *увидела*).

Более того, не только языковые, но и фактические ошибки русских классиков не подлежат правке.

И. Сельвинский о стихе М. Ю. Лермонтова

Араб горячил вороного коня....

писал: «Какая прекрасная строчка! Однако в действительности не родился еще тот араб, который решится сесть на коня вороной масти. Дело в том, что арабские лошади бывают белыми и желтыми, но по закону меланизма у белых может родиться жеребенок черной шерсти. Такая лошадь считается нечистой, и ее либо режут на мясо, либо продают иностранцам. Но эта подробность арабского быта настолько малоизвестна, а строка сложена до такой степени отлично, что мы, даже зная о тайне вороных коней, принимаем лермонтовский стих не только без протеста, но с наслаждением. Попробуйте приблизить эту фразу к точности — и она теряет свое великолепное звучание.

Араб горячил золотого коня,—

неплохо, но... выпало одно *p* из трех, и строка потускнела, несмотря на позолоту».

Показав, что в поэме «Мцыри» М. Ю. Лермонтова бой Мцыри с барсом не выдерживает никакой критики с точки зрения зоографа, И. Сельвинский добавлял: «Но любопытно еще и другое: основная ошибка Лермонтова — переселение барса из Туркестана в Грузию, где барс никогда не водился, — стала восприниматься художественной литературой как научная истина. И вот уже в рассказе И. Бунина «На Кавказе» читаем в описании грозы: «...раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тьякали чекалки». Это, конечно, бессмертный лермонтовский барс — другого быть не могло. Но у поэзии своя география, свой Кавказ, и в этом ее прелесть».

Сплошь и рядом авторы сознательно идут на нарушение правдоподобия (исторического, географического и др.).

Так, А. Фадеев в предисловии (1930) к «Последнему из удэгэ» признавался: «Как и в «Разгроме», я не придерживался в романе абсолютной географической точности. Используя наиболее благозвучные и оригинальные названия рек, гор и селений, я поневоле сдвигал со своих мест те, и другие, и третьи, стараясь сохранить только общий колорит края».

А. Н. Толстой в письме начинающему автору (1938) рекомендовал: «Вы спрашиваете—можно ли «присочинить» биографию историческому лицу. Должно. Но сделать это так, чтобы это было вероятно, сделать так, что это (сочиненное) если и не было, то должно было быть».

Реализм литературы не сводится к правдоподобию, к объективной точности. Литература развивается по своим законам.

* * *

К р и т и к. Вы видите, что я был прав: то, что грамматоедам казалось неправильным, в действительности служило развитию языка; то, что было за пределами, как Вы говорите, литературного языка, входило во всеобщее употребление, расширяло рамки литературного языка, его возможности.

Л и н г в и с т. В общелитературный язык входило не все; нельзя забывать, что писатели решали чисто художественные задачи; многое оказывалось уместным, удачным в данном произведении, но не становилось всеобщим.

К р и т и к. Пусть, но Вы же не станете отрицать, что вопреки всему границы языка раздвигались, нормы менялись, язык обогащался. Блюстители языка находили грубыми, неприличными (для дамских ушей — эти дамские уши были высшим критерием) у Пушкина слова *усы, визжать, ого, молвь, дровни*. Вот что писал Белинский о тогдашних аристархах: «За исключением Державина, поэтической натуре которого никакой предмет не казался низким, из поэтов прежнего времени никто не решился бы говорить в стихах о *пивной кружке*, и самый *пуншевый кубок* каждому из них казался бы

прозаическим: в стихах тогда говорилось не о *кружках*, а о *фиалах*, не о *пиве*, а об *амброзии* и других благородных, но не существующих на белом свете напитках...»

Лингвист. И сейчас поэты иногда воспаряют.

Критик. Речь не о поэтах. Слушайте дальше: «Затеяв писать.. новгородскую повесть «Вадим», Пушкин, в отрывке из нее, употребил стих: «Но тын оброс крапивой дикой»: Слово *тын*, взятое прямо из мира славянской и новгородской жизни, поражает сколько своей смелостью, столько и поэтическим инстинктом поэта. Из прежних поэтов едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова...» Вот, тогда боялись слова *тын*, а теперь боятся слова *прясло*.

Лингвист. Диалектное слово может быть очень удачно и выразительно, но от этого оно не перестает быть диалектным. Больше того, оно именно поэтому и выразительно. Оно необычно для нас.

Критик. Я не кончил: «Теперь странно видеть какую-то смелость в употреблении слова *тын*; но мы говорим не о теперешнем, а о прошлом времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, и фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтоб уничтожить эти австрийские *табу* в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина — так они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина — искажителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия...» Написано — как будто сейчас, нашим современником.

Лингвист. Конечно, роль писателей в обогащении языка огромна, но все-таки создатель и, если хотите, хозяин языка — народ. Язык развивается по своим законам. Писатели тонко чувствуют, улавливают эти тенденции и действуют в соответствии с ними.

Критик. Да ведь обогащение языка достигается почти исключительно благодаря народной речи, за счет того самого просторечия, которое противопоказано «культуре речи», за счет тех слов, которые когда-то

были «бурлацкими», «мужицкими» и которые и теперь изгоняются.

Лингвист. Меньше всего повинны в этом лексикографы.

Критик. А вот нет. Вам нужны факты, цифры? Их собрал писатель А. Югов: «В 4-м издании «Толкового словаря» Даля было представлено 220 тысяч русских слов. В ... четырехтомном словаре коллектива составителей их только ... 85 тысяч. То есть исключено из литературного языка, страшно молвить, 135 тысяч слов. Да еще из оставшихся-то многие снабжены пометой предостережения».

Лингвист. Но ведь это словари разного типа.

Критик. Это словари русского языка. И словарь Даля, по словам В. И. Ленина, «великолепная вещь».

Лингвист. В. И. Ленин очень точно оценил словарь: великолепная вещь, но особого рода. Вот что писал В. И. Ленин в письме А. В. Луначарскому 18 января 1920 г.

Тов. Луначарский!

Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — ознакомиться с знаменитым словарем Даля.

Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел. Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького.

Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек?

Как бы Вы отнеслись к этой мысли?

Словарь классического русского языка?

Не делая шума, поговорите с знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне Ваше мнение.

Ваш Ленин

Тот словарь, на который Вы нападаете, и был составлен по заветам Ленина, словарь «настоящего», «классического» русского языка. И позже вышел 17-томный словарь современного русского литературного языка, который базировался на принципах словаря Д. Н. Ушакова и руководители группы составителей которого — Ф. П. Филин, А. М. Бабкин, С. Г. Бархударов

и С. П. Обнорский — удостоены Ленинской премии. Но словарь Даля настолько «великолепная вещь», что поговорить о нем стоит...

Отступление 3. Собираетелъ слов

В марте 1819 г. по дороге из Петербурга в Москву на паре почтовых лошадей ехал молоденький мичман. Ямщик, поглядывая на небо, погонял лошадей. Вдруг он сказал:

— Замолаживает...

— То есть как *замолаживает*? — переспросил мичман.

Вот ведь русское слово, а непонятно. Ямщик стал объяснять, а мичман вытащил из кармана записную книжку и, коченея от холода, записал: «*Замолаживать* — иначе *пасмурнетъ* — в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью».

Звали мичмана Владимир Иванович Даль. Записав первые неизвестные ему русские слова, Даль стал внимательно прислушиваться к речи народа, и через десять лет его словарные записи требовали уже особой подводы. Даль захвачен мыслью составить словарь живого народного языка.

Сколько слов знает обычно человек? Предполагают, 10—12 тысяч. Подсчитано, что Пушкин использовал более 20 тысяч слов. В словаре Даля — более 200 тысяч.

Даль до тонкостей знал каждую вещь, все обозначения, к ней относящиеся. Так, нож, который в обычном словаре определяется просто как «инструмент для резания», в словаре Даля характеризуется следующим образом:

НОЖ, м. *но́жик*, *ножичек*, *ножи́ща*; стальная или наваренная сталью железная полоса, в черене, в колодке, для резания. В *ноже* отличают: *плашку* или *пóлосу*, *лѣст*, и *колóдочку*, *черен*; в *плашке*: *лѣзо*, *лезвие*, *резь*, острое ребро; *обух*, *обушóк*, *тупее*, тупое, толстое ребро; *плоск*, *плюск*, *голомень*, плоские бока или стороны ножа; *острие*, *тычек*, *жало*, *кончик*, острый конец; *ножка*, *осадка*, часть, уходящая в колодку. *Жалом* зовут и острый окраек лѣза. Большой столовый нож: *рушальный*; ножища кухонный, мясничий: *косарь*, *секач*; поварской: *приспешный* или *колодей*; рещиковый,

столярный: *резак*; чеботарный: *клепик*; для бритья: *бритва*; лекарский: *скапель*, *бистури*, *ампуционный* и пр. *Плужной* или *сабанный нож*, отрез, вставленный с боку лемеха. *Бумажный нож*, т. е. для взреза бумаги, бывает и костяной, и деревянный. Различают и еще ножи: *карманные (складные)*, *перочинные (ножички)*, *садовые*, *охотничьи (кортик, кинжал)* и пр. *Секач* делает переход от ножа к топору, *кинжал* к сабле. *Бабий нож*, ножницы; одна половинка разрозненных ножниц, которая, у баб, правит и замест ножа...

Далее описываются иные типы ножей — ножи машинные, ножи у свечников, копье с ножами и пр.

Беседуя с Пушкиным, Даль как-то спросил, знает ли поэт, как называется старая кожа змеи, т. е. шкурка, которую ежегодно сбрасывают змеи. Пушкин не знал. «Выползина», — ответил Даль. Пушкину новое слово очень понравилось, и он заметил с грустью: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!..» За несколько дней до смерти Пушкин пришел к Далю в новом сюртуке и сказал: «Эту выползину я теперь не скоро сброшу». В нем Пушкин был и на дуэли. Простреленный, с небольшой дырочкой черный сюртук — *выползина* — достался Далю после смерти Пушкина как память, реликвия.

Даль знал местные говоры и по выговору мог определить, из каких мест человек. Рассказывают, что однажды Даль встретил монаха и спросил его:

— Какого, батюшка, монастыря?

— Соловецкого, родненький, — ответил монах.

— Из Ярославской губернии? — сказал Даль (он знал, что *родненький*, *родимый* часты в речи ярославцев). Монах смутился:

— Нетути, родненький, тамо-ди в Соловецком живу.

— Да еще из Ростовского уезда? — удивился Даль.

Монах упал в ноги:

— Не погуби.

Оказалось, это был беглый солдат из Ростовского уезда Ярославской губернии, выдававший себя за соловецкого монаха.

Открыв океан народного языка, Даль потерял интерес к языку литературному: он показался ему бесцветным, пошлым, вообще нерусским, испорченным иностранным влиянием. Даль пишет: «...в образованном об-

ществе и на письме язык наш измололся уже до пошлой и бесцветной речи, которую можно перекладывать от слова до слова на любой европейский язык». А как же надо говорить? Говорить надо живым, выразительным и точным народным языком. И Даль приводит для сравнения образцы «образованной», книжной и народной речи:

Литературный язык

Казак оседлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть.

Овцы получаютя там-то, частью с тем, чтобы их резать на месте, частью же, чтобы гнать гуртами далее в Россию.

Жизнь наша коротка, а бедствий встречаем много.

Эта отрасль промышленности у нас в большом развитии.

«Сравните и решите, что лучше и как бы должно писать и говорить», — обращался Даль к Жуковскому. Жуковский отвечал, что вторым способом можно говорить только с казаками, да и то о близких, понятных им предметах.

Белинский по этому поводу заметил: «Воля его казацкой удали, а мы, люди письменные, равно не понимаем ни уторопи, ни назерки, ни набедр, ни спопутности. Переменять же нам Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина на гувернеров из простонародья в овчинных тулупах и смурых кафтанах — уже поздно».

Больше же всего, по мнению Даля, русский язык портят иностранные слова. Приводя иностранное слово, Даль дает тут же множество русских синонимов, он показывает, как легко найти замену иностранного слова, пусть даже привычного, принятого и уже освоенного нашим языком. Заимствованное когда-то из француз-

Народный язык

Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить.

Овцы берутся на убой или в отгон.

Веку мало, горя много.

Промысел этот шибко прошел.

ского языка слово *серьезный* вполне обрусело. Но Даль пишет: «Значение этого слова весьма различно, но одним из следующих его всегда заменить можно: *важный, чинный, степенный, величавый; строгий, настойчивый, решительный; деловой, дельный, озабоченный, внимательный, занятой; думный* или *думчивый, мысливый; резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, мрачный, угрюмый; заправский, нешуточный; нешутя, поделу, истинно, взаправду, взабыль* и пр.»

Если же подходящей замены не было, Даль придумывал сам. Например, говорил он, французское *пенсне* можно заменить словами *щипки, носохватка, щипоноска, клещовка, жемочки, очки; гимнастика — ловкосилие; атмосфера — мироколица* или *колоземица; горизонт — небозем* или *глазоем* (тут же он приводил и областные слова — *овид, оглядь*) и т. д.

Иронически отнесся к этой идее Н. Г. Чернышевский, который в статье «Народная бестолковость» (1861) писал:

«Мы начинаем обращаться в славянофилов. Три месяца тому назад, когда мы хотели выразить впечатление, производимое львовскою газетою «Слово», нам подвернулись слова иностранного происхождения — «национальная бестактность». Теперь совершенно такое же впечатление, произведенное двумя первыми номерами московской газеты «День», выразилось у нас словами чистейшего русского происхождения. Значительную долю славы за это спасительное обращение наше, история, по всей вероятности, припишет «монументальному», по выражению «Дня», труду В. Даля: «Толковому словарю живого русского языка», в котором предлагаются чистые русские слова на замену всех взятых от латинских, люторских и других нехристей; например, астрономический термин «абerrация» заменяется золотопромышленным словом «россыпь», «абордаж» — словом «сцепка», «абориген» — «коренник или сидящий на корню», «авангард» — «переды или яртаул», «автограф» — «своеручник», «автомат» — «самодвига», «живуля», «живышь» и так далее».

Для замены иностранных слов В. Даль широко использовал и областные слова, диалектные: *этаж — жилье; аптека — снадобница, зельница; портрет — по-*

лице, подобень; маршрут — путевик; маска — окружник; револьвер — скоропал и др.

Но не тем прославился В. Даль. Он остался в нашей памяти замечательным собирателем, исследователем народной речи. Он собирал не только слова, но и поговорки, пословицы — 37 тысяч. Например, В. Даль нашел 110 пословиц со словом *глаз*, 86 — со словом *голова*, 77 — со словом *конь* и т. д. После смерти В. Даля его «Толковый словарь живого великорусского языка» несколько раз переиздавался, к нему постоянно обращаются лингвисты, журналисты, писатели и все интересующиеся языком.

* * *

Критик. Все же лучший критерий истины — практика. История борьбы за богатство и чистоту нашего языка очень показательна.

Лингвист. В этом я с Вами совершенно согласен. Дискуссии велись ожесточенные, выдвигались разнообразные доводы. Наше преимущество перед спорщиками прошлых десятилетий в том, что мы знаем результаты, мы знаем то, как сама жизнь решила их споры.

Уроки истории

И. А. Гончаров в «Литературном вечере» передает разговор своих современников о языке.

Один из них вздыхает:

«— Теперь что-то не пишут так!»

Другой спрашивает:

«— Как это «так»?»

И слышит в ответ:

«— Так приятно, плавно, по-русски, чтобы всякий понимал! Возьмешь книгу или газету — и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция — так и погоняют одно другое! Вместо швейцара пишут тебе портье, вместо хозяйка или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово «игнорировать»!

— Да и по-русски-то стали писать, боже упаси, как!.. например, выдумали — «немыслимо», а чем было худо слово «невообразимо»? Нет, оно, видите, старое,

так прочь его! Или, все говорили и писали: «Такой-то или такие-то обращаются к тому, другому, или друг с другом так-то»; не понравилось им, давай менять: «такой-то *относится-де* так-то». Лучше ли это, я вас спрашиваю?»

Еще в 1789 г. А. Т. Болотов писал о неологизмах П. Львова, популярного тогда писателя: «Что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие слова, как, например, *себялюбие, себялюбивый... челопреклонцы, великодумцы, щедрощищники* и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед аккредитоваться поболее в сочинениях».

Новые явления требуют для своего обозначения новых слов. Новые слова кажутся странными или вообще излишними. *Себялюбие* — к этому слову мы уже привыкли и не понимаем, чем оно могло поразить Болотова. Но для него, по-видимому, оно звучало так же, как для нас *щедрощищники*. Сам Болотов не боится использовать иностранное слово *аккредитоваться*, едва ли необходимое. Вообще же именно иностранные слова вызывали протест чаще всего.

Выступления против иностранных слов, споры «русское или иностранное» имеют давнюю традицию. В середине XVIII в. в одном из журналов предлагалось заменить такие иностранные слова русскими:

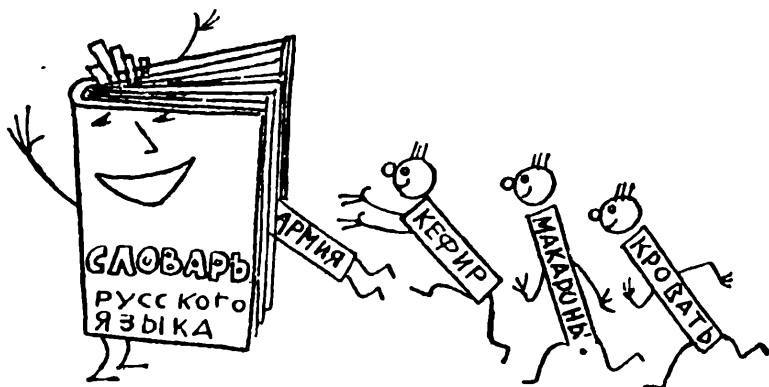
аппетит — побуждение, желание, хотение;

багаж — имение, пожитки;

директор — правитель;

инженер — искусный строитель крепостей и т. д.

Легко увидеть, что эти иностранные слова не заменили и не отменили русских, но и не исчезли из языка, они оказались необходимыми, они обогатили наш язык. Язык не потерпел бы двух совершенно одинаковых слов. Иностранные слова, как правило, отличаются от соответствующих русских слов, выражают дополнительные смысловые оттенки. Так, князь П. А. Вяземский писал о заимствованном слове *результат*: «...порываемся к результатам, которых... по-настоящему нет у нас, и поневоле прибегаем к галлицизму, потому что *последствия*,



заклучения, выводы, все неверно и неполно выражает понятие, присвоенное этому слову».

Думаем ли мы, что *результат* — нерусское слово? Как-то даже странно слышать, что *кровать, свекла, парус* — слова заимствованные. Все знают, что *макароны* — слово итальянское, но *салфетка* кажется совсем русским. А между тем в нем есть признак «иноязычности» — звук *ф*. Почти все слова с буквой *ф* заимствованные: *фонарь, фильм, форма, кефир, шкаф*, так же как и слова, начинающиеся с буквы *а*: *аптека, апрель, армия, атака*. Это слова заимствованные, но не иностранные. Это самые обычные русские слова. Конечно, нужно время, чтобы слово стало «своим».

Вначале же «психологический барьер» преодолеть трудно. В романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (гл. IV, ч. VIII) Кирсанов в разговоре с Верой Павловной употребляет слово *инициатива*: — ...А я верил тому, что ты толкуешь о равенстве, если равенство, то и равенство *инициативы*. *Инициатива* — для нас вполне обычное слово, никого сейчас им не удивишь. Реакция же Веры Павловны иная: — Ха, ха, ха! Какое ученое слово!.. И дальше она с нажимом несколько раз повторяет поразившее ее слово: — Разве я не стараюсь иметь равенство в *инициативе*? Но, Саша, я теперь беру *инициативу* продолжать серьезный разговор...

В те годы слово *инициатива* только входило в наш язык и для современников Чернышевского, возможно, звучало примерно так же, как для нас какое-нибудь *трансцендентный*.

В 1865 г. газета «День» писала: «Инициатива! Какое варварское слово! Нельзя ли русским писателям и словесникам придумать и пустить в ход русские того же

смысла слова, например, хоть *начаток, початок, задумок, переводел* или что-нибудь лучше этого?» Но слово *инициатива* живет.

К слову *принцип*, появившемуся в 40-х годах прошлого века, никак не могли привыкнуть. Даже произносили его по-разному. Герой «Отцов и детей» И. С. Тургенева говорит: *Мы люди старого века, мы полагаем, что без принципов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на первый слог)...*

И у героев И. А. Гончарова это слово вызывает отращение: — *...это противно моим принципам!* — заключил Кряков. — *Слышь — «принципы», это стоит «игнорированья», — тихо заметил генерал Сухову.*

И. Покровский сто лет тому назад предрекал:

«Я думаю, все эти *абстракты, принципы* и проч. недолговечны и никак не получают в русском языке права гражданства, а скоро, вместо них, по-прежнему войдут в употребление *отвлеченность, начало* и проч.»

Этот прогноз (уместно ли здесь иностранное слово или лучше *предвидение, пророчество?*) не подтвердился.

Можно ли думать, что множество иностранных слов, принятых и освоенных нашим языком в течение столетий, обеднило, а не обогатило его? Иностраные, заимствованные слова образуют значительный слой лексики любого языка. Это неизбежный и, будем думать, необходимый результат межнационального общения. Другое дело — злоупотребление иностранными словами в речи.

Вызывали возмущение не только чужие слова, но и чужие значения, русские слова, «копировавшие» иностранные, слова-кальки. Например, русское *полуостров* — это буквальный (по частям) перевод немецкого Halbinsel (halb — 'половина', Insel — 'остров'). Часто такое необычное образование или использование русского слова казалось неоправданным.

Один из филологов писал (в конце 20-х годов XIX в.): «Не довольны обруселые немцы, переводя с немецкого Sie sieht hübsch aus, говорят: *она хорошо выглядит* вместо *она хороша собою* или *чернильница выглядит, как ваза*, желая сказать, что *чернильница имеет вид вазы*. Слово *выглядеть* значит то же, что *разглядеть*, и отнюдь не может быть употреблено в значении, которое ему придают недоученые». *Выглядеть* — это

буквальный перевод немецкого *aussehen*: *aus* — 'вы', *sehen* — 'смотреть, глядеть'.

И мы сейчас говорим, как «недоученые», хотя глагол *выглядеть* противоречит, по выражению акад. Я. Грота, «как духу русского языка, так и грамматике». Замечали ли вы, что приставочные образования глаголов *смотреть* и *глядеть* синонимичны (различия почти исключительно стилистические, а не смысловые): *рассматривать незнакомца* — это то же, что *разглядывать незнакомца*; можно сказать: *Отец внимательно посмотрел на меня* или *поглядел на меня*; глагол *недосмотреть* легко заменить глаголом *недоглядеть*; то же мы видим и в возвратных формах: *осмотреть(ся)* — *оглядеть(ся)*, *присмотреть(ся)* — *приглядеть(ся)*, *засмотреть(ся)* — *заглядеть(ся)*, *насмотреть(ся)* — *наглядеть(ся)*. И вдруг: *высмотреть* — *выглядеть* — никакого соответствия.

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова у глагола *высмотреть* находим два значения: «1. Старательно рассмотреть. *Высмотреть все подробности*. 2. Рассматривая, найти. *Высмотреть в толпе знакомого*». Мы не скажем «*выглядеть все подробности*» или «*выглядеть в толпе знакомого*», хотя, если мы так скажем, нас легко поймут (правда, решат, что мы хотим быть остроумными). В том же словаре для глагола *выглядеть* дано только одно значение: «Иметь тот или иной вид. *Хорошо выглядеть. Выглядеть больным*». И вот при таком полном расхождении двух глаголов словарь все же фиксирует и нечто общее. При каждом глаголе дается по одному фразеологическому (устойчивому) обороту: «**Все глаза высмотреть** (прост.) — то же, что **все глаза проглядеть**», и «**Все глаза выглядеть** (прост.) — то же, что **все глаза проглядеть**». Полное совпадение. Но ведь ясно же, что это не два разных фразеологизма, это одно и то же выражение, в котором мы с одинаковым правом можем употребить и тот и другой глагол. Значения фразеологизмов полностью совпадают, но их употребление находится уже за пределами литературной речи, это просторечное выражение. И все же это исконно русское, идущее издавна. Чужое значение, заимствованное, хотя и нелепое, образованное не по правилам, вторглось в язык, заняло все слово, совершенно вытеснило прежнее основное (корневое) значение слова. Значит, оно было очень важно, необходимо в языке. Конечно, она

хорошо выглядит и она хороша собой — это совсем не одно и то же.

Известный поэт начала прошлого века И. И. Дмитриев в своих записках «Взгляд на мою жизнь» привел длинный список слов, которые, по его мнению, портили русскую речь:

«Ныне молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, признают уже устарелым и его слог, правильный, ясный, обдуманый и благозвучный... *Требования века, дух времени, народность* — вот пышные и громкие слова, непрестанно ими произносимые... Ныне удивляются только *самородному, самостоятельному, гениальному*. Но я, признаюсь, ничего подобного и не замечаю в новейших наших авторах. Гениальность и народность не в том состоит, чтоб *созданиями своими*, как они называют собственные нелепости, силиться потрясть наши нервы, возбуждать страх, ужас и отвращение, хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или хватским, употребительным на биваках. Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина, и еще две-три фразы в последнем новейшем вкусе».

И дальше проводится сопоставление слов старых (образцовых, истинных) и новых (грубых, неправильных):

По-новому
нисколько
проблескивает
суметь
колея привычки

покаместь
словно
поэтичнее

требовательный слог
вдохновлять
вдохновлен страстями
безграничный

По-старому .

нимало
просвечивает
уметь, сладить
Это слово чаще других употребляемо
было ямщиками; значит же: прорез от
колес по густой грязи
доколе, пока
как бы, подобно
стихотворнее, живописнее
(*поэтический* и *живописный* — оба слова живут в языке; очень они близки по значению, но не мешают друг другу. — В. О.)
хвастливый, затейливый
вдыхать, одушевлять
воспламенен
неограниченный, беспредельный
(Дмитриеву кажется — зачем еще слово, когда уже два есть, и с тем же значением. — В. О.)

огромные надежды, огромный гений

ответить

этих
пехотинец
конник

это прилагательное прикладывалось только к чему-нибудь материальному: *огромный дом, огромное здание* (как раз в те годы у многих слов развиваются новые, переносные значения; это слово обратило на себя внимание потому, что часто использовалось, и не всегда уместно. — В. О.)

отвечать (и, желая окончательно убить сарказмом своих противников, добавляет: «Так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах»)

сих, оных
пеший, сухопутный солдат, ратник
конный, всадник (и снова не без ехидства замечает: «Нынешние авторы, любя подслушивать, оба свои названия переняли у рекрутов»)

Очень, конечно, важно, чтобы новое слово было безупречно в грамматико-словообразовательном и стилистическом отношении. Но нередко не это главное, и если слово необходимо, то оно рано или поздно пробьет себе дорогу, будет признано в языке.

В 1840 г. Н. И. Греч выступал против слов, которые составлены с «нарушением основных правил языка и смысла»:

«Таковы, например, слова: *вдохновить, вдохновитель, вдохновительный*. Ими хотели перевести слова *inspiré, inspireur*. Но эти слова варварские, беспаспортные, и места им в русском языке давать не должно. Они производятся от слова *вдохновение*, которое само есть производное от глагола *вдохнуть*, как *отдохновение* от *отдохнуть*, *столкновение* от *столкнуть*; но можно ли сказать: *отдохновитель, столкновитель*? Если можно, то говорите и *вдохновитель*».

Вокруг нового слова разгорелся спор. Зачем нужен этот глагол, когда есть *воодушевлять*? Другие возражали, у *вдохновенный* — *вдохновить* такие же отношения, как и у *удивленный* — *удивить*. Снова возражение: *вдохновенный* — *вдохновить* — столь же нелепо, как *незабвенный* — «незабвенить», *надменный* — «надменить».

Ю. С. Сорокин, рассказав об этих спорах, заключал: «Вопросы словопроизводства не разрешаются лишь грамматическими аналогиями; они решаются в ходе развития языка взаимодействием установившихся грам-

матических правил и развертывающихся лексико-семантических процессов. Во всяком случае появление и закрепление в языке глагола *вдохновить* не было только случайностью и грамматической ошибкой... слово, впервые пущенное в ход Н. Полевым (известным журналистом той эпохи. — В. О.), уже у молодого поколения 30-х годов получило полное признание».

Полистаем популярный справочник по культуре речи, изданный в 1843 году; — «Справочное место русского слова». В предисловии сказано: «В Справочном месте русского слова собраны и исправлены ошибочные выражения, вкравшиеся в наш разговорный и письменный язык...» И сразу же уведомление: «На ошибки простонародья не обращено здесь никакого внимания...» Какие же ошибки делала образованная публика? На первых же страницах натываемся на глагол *вдохновлять*. Сказано просто и резко: «**Вдохновлять**. Многие пишут: Поэта вдохновил вид природы. Слов *вдохновить* и *вдохновлять* нет в русском языке. Они встречаются только у писателей, которые не обращают внимания на произведение слов, употребляемых ими».

Другая трудность: «**Всходить**. Часто употребляют слово *входить* там, где должно говорить: *всходить*. Не раз при описании торжественных актов читали мы: профессор NN вошел на кафедру; должно сказать *взошел* на кафедру. Напротив того, не следует говорить: я взошел в комнату, когда входишь в нее не по лестнице».

Сейчас глаголы *всходить* — *входить* для нас не представляют трудностей. Нас беспокоит другая пара: *сходить* — *выходить*. Мы спорим, можно ли в трамвае, автобусе спрашивать стоящих впереди пассажиров: *Вы сходите на остановке?* Нашим предкам было проще — не было трамваев. *Сходить* приходится там, где есть ступеньки.

Еще проблема: «**Госпиталь**... не должно говорить: морская госпиталь, сухопутная госпиталь; говори: морской, сухопутный госпиталь». Сейчас с этим словом все ясно, зато появились новые — *тюль*, *толь*, *шампунь*. Впрочем, мужской род побеждает и здесь.

Трудностей много. Например: «**Долго**. Часто говорят: «Спектакль продолжался очень долго», или: «Как он долго-длится» и т. под. Эти выражения неправиль-

ны; должно говорить: спектакль очень продолжителен или Как он длится, не прибавляя слова *долго*; при словах *продолжаться* и *длиться* слово *долго* подразумевается и совершенно излишне».

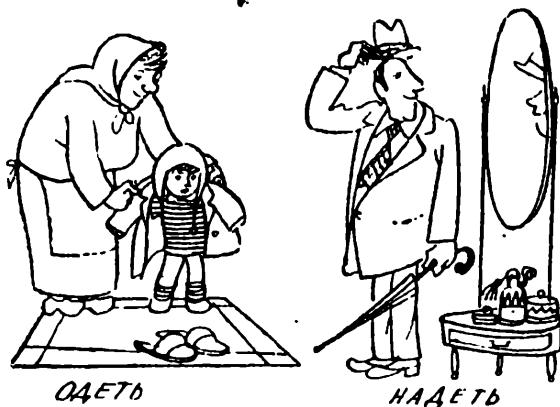
Действительно, слова *долго* и *длиться*, *продолжаться* вышли из одного источника, это слова однокорневые. *Долго длится* — почти то же, что *масло масляное*, повторение однокоренных слов — тавтология. Иногда сейчас говорят: *своя автобиография*, хотя *авто-* (от греческого *autos* — 'сам') и значит 'свой'. Говорят *старый ветеран*, а это ошибка. В современном словаре-справочнике «Правильность русской речи» (сост. Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов) сказано: «Слово *ветеран* восходит к латинскому *veteranus* (от *vetus* 'старый') и по значению связано с понятием опытности, большого стажа деятельности в чем-н. и т. д. Нельзя оправдать поэтому «усилительные» тавтологические сочетания *опытный ветеран*, а также *старый ветеран* или *старейший ветеран* (когда не имеется в виду возраст человека), встречающиеся в современной устной и письменной речи...»

Сейчас же мы говорим *Спор продолжался долго*, и никто не считает подобные фразы неправильными. Разумеется, ведь спор может продолжаться и недолго. Продолжительность может быть различной, и это различие необходимо бывает обозначить. По-видимому, меняется значение слов, меняется и наше к ним отношение. Кажется, еще совсем недавно считали грубой ошибкой выражения *монументальный памятник* (*монумент* — это и есть памятник), *букинистическая книга* ('книжная книга'), *патриот своего отечества* (*патриот* — это человек, который любит родину) и др. Однако сейчас отношение к этим словам изменилось. Например, в том же справочнике читаем: «**Патриот** — 'человек, любящий родину, преданный ей'. Это слово первоначально употреблялось без дополнения... Постепенно прямая соотнесенность слова с лат. *patria* 'родина' утратилась, и в слове *патриот* основным смысловым стержнем стала идея любви, преданности чему-н. Так появились словосочетания *патриот родного города*, *патриот своего завода* и т. п. ... Такое расширение и видоизменение значения слова *патриот* делает вполне допустимыми сочетания типа *патриот своей родины*, *патриот своего отечества*, которые встречаются в устной речи и в печати».

А вот еще одна поучительная аналогия. Справочник прошлого столетия предписывал: «Характер. Часто говорят: «вот человек с характером, или: «в этом деле вы показали много характера». С каким же характером? много характера — какого же? можно спросить в этих случаях, потому что характер может быть твердый, слабый, нерешительный и т. д. Должно говорить: человек с твердым характером; показали много *твердости характера*».

Как это похоже на рассуждения современных любителей-филологов (нелингвистов): те же упреки, те же доводы против ряда слов, например против слова *качественный*. В пособии по культуре речи читаем: «Один пропагандист сказал, например, что *столовые борются за качественные обеды*. Он забыл, что существуют слова *доброкачественный* и *недоброкачественный*, и нельзя говорить, что это *некачественная* или *качественная работа*, а надо говорить, что *это работа плохого качества, а это работа хорошего качества*». Увы! *Столовые борются за доброкачественные обеды* было бы еще более нелепо. И дело не в том, как говорят другие, что качество может быть плохим и хорошим. У языка своя логика. Вкус человека тоже может быть плохим и хорошим, но если говорят *человек со вкусом*, это значит — с хорошим. Когда говорят *борьба за качество*, ни у кого не возникает сомнений, о каком качестве идет речь.

Мнение лингвистов, выраженное в вышеназванном современном словаре-справочнике, таково: «В современном языке появление слова *качественный* с оттенком положительного свойства было вполне закономерным. Ср. *квалифицированный* (т. е. высокой квалификации), *сознательный* (т. е. высокой сознательности) и т. п. По тому же образцу: *качественный* (т. е. высокого качества). Кроме того, прилагательное *качественный* может иметь и особый оттенок смысла: 'удовлетворяющий определенным требованиям, обладающий необходимыми качествами' и т. п. Таким образом, нет никаких оснований осуждать само наличие слова *качественный* в современном русском языке». Это, конечно, не значит, что словом *качественный* можно во всех случаях заменить слова *хороший, отличный* и др. *Качественный обед* или *качественный пирог* можно сказать только в шутку. Каждое слово хорошо на своем месте.



Наконец, еще одна удивительная вещь. В справочнике прошлого столетия указывалось: «Одеть, надеть. Часто не обращают внимания на различие между этими словами. *Одеть* говорится о предметах одушевленных; например: *одеть человека*.

Надеть можно сказать только о неодушевленном предмете; напр.: *надеть шапку, надеть сапоги*. Поэтому не должно говорить, например: *одел шубу*; правильно: *надел шубу*».

И в 1960 г. А. Твардовский говорил: «Я разделяю чувства преподавателя языка, пусть даже несколько педанта, который мучительно переносит те языковые неряшливости, искажения, мелькающие, к сожалению, даже и в большой печати. Я сам, как песчинку в хлебе, попадающую на зуб, не выношу слова *одел шапку*, а так упорно почему-то пишется вместо *надел*. Мы с вами знаем, что можно одеть ребенка, одеть кого-то, а шапку — только надеть, как и полушубок, как и сапоги».

Многое изменилось в языке, многие ошибки исчезли, перестали быть ошибками, появились новые. А эта сохраняется «упорно». Почти полтора столетия словари, учебники, справочники указывают на нее, гонят ее, и все напрасно. Об этой ошибке сказано больше, чем о какой-либо другой, мимо нее не проходит ни одно пособие по культуре речи, но ошибку легко найти и в газетах, книгах, в языке радио, в речи лекторов, в разговоре. И вот у лингвистов возникло подозрение: а может быть, это уже и не ошибка, может быть, это уже норма? Мнения разделились. Вопрос так и остается вопросом.

Какие же уроки можно извлечь из всего сказанного? Разные. Например, ясно, что бессмысленно бороться против того, что необходимо и что уже достаточно прочно вошло в язык. Рассуждения пуристов часто смешны. Но ясно также, что не следует спешить отказываться от старого, хвататься без оглядки за все новое. Очень быстрые изменения в языке — это плохо: распадается

«связь времен», поколений. В прошлом накоплено столько богатств, что ключ, открывающий доступ к ним, надо беречь. В оценке возможностей слова приходится быть осторожным. Нельзя что-то одно, например словообразовательно-грамматическую правильность, распространенность, традиции употребления и т. п., считать единственным и на основании этого допускать слово в речь или изгонять. В каждом конкретном случае важно внимательно присмотреться к слову, взвесить все «за» и «против», прежде чем вынести приговор.

Сколько частей речи в русском языке!

Правдин (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна...

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь, котора дверь?

Правдин. Котора дверь! Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему же?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вот у чулана шеста неделя дверь стоит еще не повешена: так та покамест существительна.

Стародум. Так поэтому у тебя слово *дурак* прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку.

Митрофан. И ведомо.

(Д. И. Фонвизин. Недоросль.)

Сейчас любой школьник, наверное, без труда отличит прилагательное от существительного. Например: *зелень листьев* — *зеленые листья*. Смысл один, но *зелень* — существительное, хотя и обозначает цвет, а *зеленые* — прилагательное. Что их отличает? Формальные признаки, особое оформление слова. У прилагательных свои окончания. *Золото волос* — слово *золото* определяет предмет, указывает на его качество, цвет, как прилагательное, но по форме слова оно существительное. *Посуда из серебра* — то же самое, что *серебряная посуда*, но части речи разные. *Быстрота* — существительное, *быстрый* — прилагательное, так же и *белизна* — *белый*, *смелость* — *смелый* и т. п.

Или, например, *больной*... Впрочем, здесь уже не так все просто, и не каждый школьник при грамматическом разборе сразу сообразит, в чем дело. И мы уже готовы спросить: *Котора дверь?*, т. е. *Какой больной?* Просто *больной* или *больной человек?* У слов *военный*, *рабочий*, *ученый* и т. п. все, как у прилагательных, но они могут быть и существительными. Выходит, одно слово может быть и прилагательным и существительным.

Всякое слово кажется простым, пока мы не заглядываем в него поглубже. Вполне обычно слово *пропасть* — существительное женского рода. Но живой язык и здесь задает нелегкие задачи. Вот три примера из классической литературы: 1. *Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки* (М. Ю. Лермонтов.) 2. *Я нашла пропасть, да после траура все еще не решаюсь щеголять-то* (А. Н. Островский). 3. — *Тьфу пропасть! говорит она: и тот дурак, кто слушает людских всех врак* (И. А. Крылов).

С первым предложением все просто. *Пропасть*, как указывается в словаре, означает: 'глубокая, отвесная впадина на земной поверхности...'. Во втором предложении слово *пропасть* не только изменило смысл (приобрело значение множества), это уже и не существительное. А что же — числительное? Наречие? В третьем предложении оно вообще не имеет как будто никакого значения, а просто оказывается 'восклицанием, выражающим досаду, раздражение, неудовольствие' другими словами, междометием.

Но, может быть, это редчайшие случаи в языке, когда существительное не является существительным? Не такие уж редкие. Когда мы говорим *Он человек добрый*, мы вовсе не хотим подчеркнуть, что он — 'человек', а не 'зверь'. *Она — женщина умная* — все равно, что *она умная*. Слова *человек*, *женщина* в этом случае как бы утратили свое основное значение и приобрели значение местоимений (т. е. 'он такой добрый, она такая умная'). Еще нагляднее это в примерах: *Строгость — вещь хорошая*, *Дело было вечером*, *Воспитание — важный вопрос*, где слова *дело*, *вещь*, *вопрос*, как говорят лингвисты, «лексически опустошены». Они выполняют функции указательных местоимений. Ср.: *Дело было в июне* и *Это было в июне*. Смысл один. Нужно ли говорить о сотнях,

тысячах случаев, представляющих для нас столько трудностей на письме: *без толку и бестолковый, из дали и издали, со зла, сзади, до упаду и дотемна, навстречу и на встречу* и др.

И такие «переходы», противоречия характерны не только для существительных. Попробуем решить проблему двух *ах* у Пушкина. Впрочем, кажется, что *ах* всегда *ах* — междометие, очень уж оно просто и определено. В III главе «Евгения Онегина» описывается, как Татьяна ждет Евгения:

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени...

Ах! — это вскрикнула Татьяна. Здесь *ах* — междометие.

Второй случай как будто ничем не отличается от первого. В V главе, в описании сна Татьяны:

Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна *ах!* а он реветь...

Академик Л. В. Щерба в отношении этого *ах!* писал: «Для меня *ах* относится к Татьяне и является глаголом, а вовсе не междометием». Да, оно обозначает действие, так же как и *прыг* в предыдущем примере.

Ученые, выделяя классы, группы слов и формы, стараются наиболее полно и точно описать структуру языка, но взгляды ученых меняются, наука развивается. Мы привыкаем к определенным классификациям, однако это условное деление, абсолютно строгое и четкое разграничение провести не всегда возможно: слова могут переходить из одной части речи в другую, в одних и тех же классах слов обнаруживаются грамматические признаки разных частей речи, границы между ними неустойчивые, колеблющиеся. Может быть, это недостаток языка? Нет, как уже отмечалось, это признак высокого развития языка, его способности выражать тончайшие оттенки мысли, это грамматическая основа гибкости языка.

Академик В. В. Виноградов начал свой капитальный труд «Русский язык. Грамматическое учение о слове» с известного высказывания: «Два дела особенно трудны — это писать словарь и грамматику».

А трудностей действительно много. Уж на что, казалось бы, ясная и определенная вещь — имя числительное! Но и здесь много противоречивых суждений. Трудности и противоречия начинаются буквально с самого начала, с числительного *один*. Я написал — числительного, а ведь это одна из возможных точек зрения. Другие лингвисты считают *один* прилагательным, третьи — местоименным прилагательным. И для этого есть серьезные основания: слово *один* обладает рядом таких грамматических признаков, которыми характеризуются прилагательные и которых нет у числительных. Многие лингвисты исключили числительные из разряда частей речи, распределили их отчасти среди имен существительных (например, *пять* — тот же тип, что *лошадь*), отчасти среди имен прилагательных (например, *пятый* — тот же тип, что *красный*). Даже ученый-лингвист А. П. Боголепов, написавший в защиту числительных прекрасную статью «Пропавшая часть речи», не считал *один* числительным, так как *один* «не обозначает число как совокупность однородных предметов, а обозначает только один предмет». Более того, по мнению А. П. Боголепова, «в своем значении оно оказывается даже лишним в языке: ведь сказать *один стол* и просто *стол* в смысле обозначения единичности названного предмета — одно и то же...». Конечно, значение единичности обозначаемого предмета выражается единственным числом существительных. Как же так, ведь *1* — это первая цифра, основная цифра? Но и здесь, отвечал А. П. Боголепов, слово *один* оказывается лишним, мы обходимся без него. Для обозначения цифры *1* употребляется слово *единица*. А разве не с него начинается счет?

А. П. Боголепов возражал: «При счете вместо *один* мы чаще говорим *раз*, так что ряд счетных слов у нас установился в таком виде: *раз, два, три* и т. д.; это в отвлеченном счете; а при конкретном мы просто начинаем счет с названия считаемого предмета, и постоянно можно наблюдать детей, которые в игре производят счет шагов так: *шаг, два, три* и т. д., или крестьян,

считающих: *мера, две, три* и т. д. Так что и здесь можно обойтись без слова *один*».

Это все еще спор в области смысла и назначения слова, мы не говорили о главных, собственно грамматических, формальных особенностях слова. Так вот, если внимательно проанализировать формы слова *один*, то его никак нельзя отнести к группе числительных. Начнем с того, что слово *один* имеет формы рода: *один, одна, одно*. Вопреки всякой логике *один* имеет формы множественного числа. При таком нелогичном поведении оно, естественно, «выскакивает» из круга своего значения, не обозначает число. *В саду одни яблони* значит 'только яблони'. Это не числительное, а частица. Склоняется *один* не как все числительные, а как местоимения (*сам, тот, этот*):

одного — этого

одному — этому и т. д.

Впрочем, и по значению *один* часто напоминает неопределенные местоимения: *встретил одного человека* значит 'какого-то человека', 'встретил кого-то'. Итак, что же такое *один* — числительное, прилагательное, местоимение, частица? Ответ на этот вопрос непосредственно связан с практикой: орфографией, правильной устной речью.

В числительных немало трудных случаев, когда не знаешь, как сказать, как написать. Например, что выбрать: *с тысячью рублями, с тысячей рублей, с тысячью рублей, с тысячей рублями*? «С пятью рублей» — так мы не говорим. В сочетании с существительным числительное согласуется, т. е. существительное и числительное стоят в одном падеже. Но когда слово *тысяча* стоит в творительном падеже, а существительное в родительном, есть веские основания не считать слово *тысяча* числительным. А чем же? Конечно, существительным. Как и все существительные, слово *тысяча* имеет не только категорию падежа, но и категории числа и рода. Легко возразить: но ведь оно обозначает число, и если мы *один* при счете можем заменить словом *раз*, то *тысяча* ничем не заменяется. Слово *тысяча* имеет числовое значение, и уже этого достаточно, чтобы отнести его к числительным. Достаточно ли? Тогда к числительным придется отнести и такие слова, как *па-*

ра, десяток, дюжина, сотня. А что сказать в отношении слов *треть, четверть, двойка, пятерка, десятина, пяток* и др.? К тому же есть еще группа слов, обозначающих неопределенно большое количество чего-нибудь: *пропасть, масса, бездна, уйма* и т. д. Вопрос не так прост, как кажется.

А. П. Боголепов в названной выше статье так писал о словах *тысяча, миллион, миллиард*: «Системе форм у этих слов и их употреблению соответствует их значение, так как слова *тысяча, миллион* и т. п. обозначают не просто количество, а данное количество как единицу счета, следовательно, как предмет; тысячи и миллионы мы можем считать так же легко, как луковицы и огурцы: одна луковица — одна тысяча, две луковицы — две тысячи, пять луковиц — пять тысяч и т. д.; один миллион — один огурец, два миллиона — два огурца, пять миллионов — пять огурцов и т. д.».

Разобравшись в особенностях числительных, мы легко поймем, почему вопреки очевидной, казалось бы, логике глагол в предложении *В обсуждении принял участие 41 человек* стоит в единственном числе. Вот если бы речь шла о 39, 40 или 46, 48 участниках, глагол, как ему и положено в сочетаниях с числительным, стоял бы во множественном числе. Другой пример: *За один день выставку осмотрела тысяча человек.* А если миллион? Глагол тоже будет стоять в единственном числе. Тот, кто незнаком с особенностями числительных, обязательно будет стараться в таких случаях употребить множественное число. Он будет руководствоваться здравым смыслом, прибегнет к аналогиям (сочетаниям глагола с другими числительными) — и ошибется.

Сопоставьте два слова: *десять* и *десяток*. Нельзя сказать «два десять», «пять десять», зато свободно мы говорим *два десятка, пять десятков*, потому что *десяток* — существительное, а *десять* — числительное. Числительные не предметы, а абстрактные числовые обозначения, и их нельзя считать, как луковицы или огурцы.

Кроме того, есть еще так называемые порядковые числительные. Почему «так называемые»? Да потому, что многие лингвисты считают их не числительными, а прилагательными. Обычно бойцами, воинами являются

мужчины. Но если женщина одета в военную форму и несет военную службу, разве ее нельзя считать бойцом, воином, солдатом? Подобно этому и порядковые числительные «носят» форму прилагательных и ничем не отличаются от них в своем поведении. Конечно, порядковые числительные прямо соотносятся с соответствующими количественными (*пять — пятый, шесть — шестой*). «Считать *третий, четвертый, пятый, шестой* и другие порядковые определения числительными,— писал В. В. Виноградов,— то же самое, что находить в относительных прилагательных *вчерашний, сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний* и т. п. наречия времени или отглагольные прилагательные на *-лый* (типа *полянйлый*) называть глаголами прошедшего времени». Форма здесь сильнесс значения. Если бы при выделении частей речи мы учитывали только значение слова, то никогда бы не выпутались из противоречий.

В самом деле, *пять — пятый* так же соотносятся, как *тишь — тихий*. Не считаем мы числительными и слова *двойной, тройной, двойственный, двоякий* и др.

Кроме того, есть группа неопределенно-количественных... вот только трудно сказать чего — числительных, наречий или даже прилагательных: *несколько, мало, много, немного* и др.

Кроме того, есть... но, вероятно, уже достаточно о числительных. Понятно, что если в этой как будто математически строгой, определенной и лингвистически относительно простой категории столько неопределенного и противоречивого, то что уж говорить о других частях речи! Если какие-то группы слов можно с равными (или почти) основаниями относить то к одной, то к другой категории, то, естественно, возникает вопрос: какие же критерии считать необходимыми и достаточными для распределения слов по частям речи? И как следствие другой вопрос: а сколько вообще частей речи в нашем языке?

Академик Л. В. Щерба в известной статье «О частях речи в русском языке» рассуждал: если мы данное слово относим к какому-то классу, к какой-то категории, то «само собой разумеется, что должны быть какие-то внешние выразители этих категорий». Внешние выразители, или, точнее, формальные признаки, могут быть весьма различными: окончания, суффиксы, приставки,

а также интонация, ударение, порядок слов и др. «В фразе *Когда вы приехали?* ударение на *когда* определяет его как наречие, а отсутствие ударения в фразе *Когда вы приехали, было еще светло* определяет его как союз».

Но ведь один и тот же формальный признак может характеризовать разные категории; например, окончание *-а* в слове *вода* выражает именительный падеж существительного женского рода, а в слове *стола* — родительный мужского. Форма одна (*-а*), а значения разные. Следовательно, важно учитывать не только форму, но и значение, причем не лексическое, а грамматическое (скажем, в существительных — значение предметности, то самое значение, которое позволяет нам даже действия, качества (*бег, доброта*) представлять, мыслить как предметы; разные значения, выражаемые падежными формами, и др.).

Здесь, как и всегда, форма неразрывно связана с содержанием. Академик Л. В. Щерба так формулирует этот основной закон грамматики: «Существование всякой грамматической категории обуславливается тесной, неразрывной связью ее смысла и всех ее формальных признаков».

Определив критерии, Л. В. Щерба попытался распределить слова по группам, по так называемым «частям речи». Прежде всего он выделил «очень неясную и туманную категорию междометий». Междометия очень различны. С восклицаниями *ах! ох! ура! эге! чу!* все просто. А что такое *горе! ужас! глупости!* — существительное или междометие? А *бац, бух, хлоп, щёлк?* — глагол или междометие? А как отнестись к обычным в разговоре *брось, валяй, давай?* Повелительное наклонение? А целые предложения: *Вот те раз! Была не была! Вот так клюква!* Ведь это цельные, устойчивые выражения, смысл их не складывается из значений отдельных слов, он оказывается не суммой, а, так сказать, произведением составляющих предложение элементов. И передает оно чувства, эмоции говорящего. Но, с другой стороны, новая сложность: если в предложении выражаются чувства, значит, оно междометие? Разве *Как хороши, как свежи были розы!* — тоже междометие?

Основной признак междометия — его обособленность, отсутствие связи с другими словами. Далее в той же ра-

боте называются слова знаменательные — существительные, прилагательные, глаголы и т. п. — и служебные.

Для тех, кто усвоил школьную грамматику, в классификации Л. В. Щербы много неожиданного. Так, Л. В. Щерба относит к «словам количественным», т. е. числительным, слова типа *много, мало*.

Причастия, которые обычно признаются глагольными формами, он заносит в разряд прилагательных, а деепричастия — в разряд наречий. И вот на каком основании. Известно, что причастия совмещают в себе признаки глагола и прилагательного. Большинство грамматистов считает, что причастие, сохраняя основные глагольные категории — залог, вид, время, теснее связано с глаголом. Но какие признаки сильнее, прочнее в причастии — признаки глагола или прилагательного? По мнению Щербы — признаки прилагательного. Во всяком случае, признаки глагола как бы временны в причастии, они могут исчезать, утрачиваться, тогда как признаки прилагательного устойчивы. Точно так же и деепричастие нередко теряет глагольность и легко превращается в простое наречие.

Л. В. Щерба считает неправильным распространенное определение глагола как части речи, которая выражает действие или состояние предмета. В глаголе «основным значением является только действие, а вовсе не состояние». Состояние выражает другая часть речи — категория состояния (так назвал ее Л. В. Щерба), это слова *нельзя, можно, должен, рад, готов* и др. Из этого определения глагола следовало, что связка *быть* не глагол, «потому что она не имеет значения действия». Она вообще незнаменательна. И Л. В. Щерба отнес связки к словам служебным и выделил их, как и предлоги, союзы, в особую группу, в особую часть речи.

Таким образом, Л. В. Щерба выделил четырнадцать частей речи, четырнадцать основных групп слов. А если подключить сюда претендентов на право называться самостоятельной частью речи (почему, например, не считать самостоятельными частями речи причастие и деепричастие? Потому что они совмещают признаки других частей речи? А разве наречие или местоимение не отличаются тем же? А частицы, приставки?), то, как отметил академик В. В. Виноградов, «число частей речи в русском языке перешагнет за двадцать». И продолжал:

«Но с той же легкостью, с какой растет число частей речи в грамматических теориях одних лингвистов, оно убывает в концепциях других».

Действительно, из выделяемых обычно грамматикой десяти частей речи числительные и местоимения легко распределяются между существительными, прилагательными и наречиями (например, количественные числительные часто относили к существительным, порядковые — к прилагательным; местоимения *кто, кто-то, никто* и др. имеют много общего с существительными, а местоимения *мой, наш, какой, никакой* и др. в грамматическом отношении почти ничем не отличаются от прилагательных). Так остается только восемь частей речи, но очевидна неравнозначность оставшихся групп слов.

Строго говоря, едва ли правомерно несамостоятельные, незначительные, вспомогательные слова возводить в ранг частей речи. Например, предлоги. Сами они обычно ничего не значат, указывают на отношения между словами, существуют они только благодаря существительному, на них даже не падает ударение! Претензии их на высокое звание части речи, их стремление стать в один ряд с существительными совершенно неоправданы. У приставки не меньше прав и достоинств, чем у предлога, однако она не считается самостоятельной частью речи.

Не пора ли исключить служебные слова и междометия из числа частей речи? В 30-е годы XX в. выдающийся французский лингвист Ж. Вандриес писал в книге «Язык»: «Классифицировать части речи настолько трудно, что до сих пор никто удовлетворительной классификации их не создал. По традиции, восходящей к греческим логикам, французская классическая грамматика различает их десять. Но эта классификация не выдерживает критики: ее трудно было применить даже к языкам, для которых она была создана; но еще труднее применить ее к языкам, к которым она совсем не подходит. Исследуя ее глубже, мы приходим к необходимости ее исправить».

И как раз больше всего сомнений у Ж. Вандриеса вызывало междометие, та самая категория, которая и Л. В. Щербе представлялась «туманной». Французский ученый предлагал: «Прежде всего надо исключить из частей речи междометие. Как бы ни было велико значе-

ние междометия в речи, в нем есть что-то, что его обособляет от других частей речи, оно — явление другого порядка... Вообще, оно не имеет ничего общего с морфологией. Оно представляет собой специальную форму речи — речь аффективную, эмоциональную или иногда речь активную, действенную...»

Итак, остались только четыре части речи — существительное, прилагательное, глагол и наречие. Пусть будет мало частей речи, но зато несомненных. Увы, сомнения не кончались. Академик В. В. Виноградов писал в этой связи: «Если лингвистический скептицизм простирается дальше, то подвергается сомнению право наречий на звание самостоятельной части речи. Ведь одни разряды наречий находятся в тесной связи с прилагательными... другие — с существительными, третьи не имеют ярко выраженных морфологических признаков особой категории». Вспомним, как много орфографических ошибок именно в наречиях, — следствие неопределенности этой категории.

Но и между прилагательными и существительными часто нет четких различий. Ж. Вандриес пришел к следующему выводу: «Между ними (прилагательными и существительными. — В. О.) нет четкой грамматической границы; их можно соединить в одну категорию — категорию имени. Продолжая этот отбор, мы приходим к тому, что существуют только две части речи — глагол и имя. К ним сводятся все остальные части речи».

Сколько все-таки частей речи в русском языке? В 30-е годы XX в. в очень популярной, выдержавшей множество изданий книге А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» выделялись четыре основные части речи — существительное, прилагательное, глагол и наречие. Об остальных категориях было сказано глухо. В капитальном труде В. В. Виноградова «Русский язык» (изд. 1-е — 1947 г., изд. 2-е, посмертное — 1972 г.) категории слов делились на части речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, категория состояния) и частицы речи (частицы в собственном смысле, частицы-связки, предлоги, союзы); кроме того, самостоятельно выделялись две другие категории — модальные слова и междометия. Академическая грамматика 1952—1954 гг. установила десять частей речи: существительное, прила-

гательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частицы, междометие. Новая академическая грамматика, вышедшая в 1970 г. под редакцией проф. Н. Ю. Шведовой, сохранила те же части речи. Но эта близость старой и новой грамматик кажущаяся. Сохранив количество разрядов, новая грамматика изменила их состав. Изменения весьма значительны. Так, в разделе местоимений остались только «местоимения-существительные» (*он, кто, что, никто, ничто*), а местоимения *мой, твой, наш, какой, который, чей-нибудь, никакой* и др. оказались среди прилагательных. В разряд прилагательных были отнесены порядковые числительные, которые в новой грамматике называются порядковыми прилагательными, бывшее числительное *один* и др.

Наверное, и в будущей академической грамматике многое будет расставлено иначе.

Как все просто и хорошо было в школе и как усложняют дело лингвисты! Не лучше ли оставить все по-старому и ничего больше не менять? «Оканчивая свое обозрение так называемых «частей речи» в русском языке, — писал в заключение своей статьи о частях речи академик Л. В. Щерба, — я начинаю слышать тот стон, который идет из учительских рядов: «Как все это сложно! Неужели все это можно нести в школу? Нам надо бы что-нибудь попроще, поточетливее, попрacticalнее...» К сожалению, жизнь людей не проста, и если мы хотим изучать жизнь, — а язык есть кусочек жизни людей, — то это не может быть просто и схематично. Всякое упрощение, схематизация грозит разойтись с жизнью, а главное, перестает учить наблюдать жизнь и ее факты, перестает учить вдумываться в ее факты».

Грамматика и языковые ошибки

Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи.
А. С. Пушкин

Сколько падежей в нашем языке? Мы неоднократно сталкиваемся с этим вопросом в самых, казалось бы, обыкновенных случаях. Так, при разборе предложения *Я сижу на берегу* перед ученицей возникает чуть ли не неразрешимая задача — определить падеж существи-

тельного. Вопрос где? мало помогает. Ученица начинает мысленно (про себя) склонять: *бéрег, бéрега, бéрегу, бéрег, бéрегом, о бéреге* — и отвечает: дательный. Действительно, форма *берегу* ей встретилась только в дательном падеже. На ударение она не обратила внимания и удивилась, когда ей сказали, что это предложный падеж, ведь предложный — *о береге*.

Хотя девочка ошиблась, рассуждала она вполне логично. Как мы определяем падеж? Практически по вопросам. Но если к словосочетанию *мечтал о лете* вопрос о чем? закономерен, то к сочетанию *сизу на берегу* вопрос на чем? явно неестествен, а вопрос где? не связан обязательно с предложным падежом. По каким же признакам определяют падежи лингвисты? Ясно, что не по вопросам — падежей у нас шесть, а вопросов к словам можно поставить десятки.

Как уже было сказано, для выделения какой-нибудь грамматической категории нужны формальные признаки. Для падежа таким признаком будет окончание: *земл-я* — именительный падеж, *земл-й* — родительный и т. д. Но этого явно недостаточно, *земл-е* — одно и то же окончание в дательном и предложном; значит, если следовать формальному принципу, здесь один падеж. Зато в творительном два окончания — *-ей* и *-ею* — два падежа? У разных слов разное количество окончаний (например, у слова *путь* — три).

И. стол	<i>путь</i>
Р. стола	<i>пути</i>
Д. столу	<i>пути</i>
В. стол	<i>путь</i>
Т. столом	<i>путем</i>
П. о столе	<i>о пути</i>

Следовательно, пришлось бы выделить и разное количество падежей.

Окончание — это именно формальный признак падежа, а ведь в каждом явлении, кроме формы, есть еще и содержание. Так в чем же смысл падежей? Сами падежи мы определяем все же не по окончаниям, а по вопросам. Что отражают эти вопросы — кого? чего? кем? чем? и т. д.? Они указывают на отношение предметов. Например, когда нам нужно указать на принадлежность какой-либо вещи определенному лицу, выра-

зять значение принадлежности, мы используем родительный падеж — *книга брата, проза Пушкина* (кроме того, родительный падеж имеет и другие значения: указание на материал — *мебель красного дерева*; обозначение лица, обладающего названным свойством, признаком — *смелость солдата, решительность матери* и мн. др.); значение указания на лицо или предмет, к которому направлено действие, несет дательный падеж; выражение прямого объекта — функция винительного падежа. В зависимости от смысла и надо выделять падежи: один смысл — один падеж, другой смысл — другой падеж и т. д. Попробуйте, однако, сами определить смысл, значение какого-нибудь падежа. А какова роль этих смысловых различий? Мы замечаем их в трудных, спорных случаях, когда «грамматические тонкости» мстят нам за пренебрежительное к ним отношение, когда из-за них мы не можем понять смысл высказывания. А. Н. Гвоздев приводил такой пример: *Помощь дивизии пришла вовремя* — дивизия кому-то помогла или, наоборот, она воспользовалась чьей-то помощью? Этот разный смысл обусловлен разными значениями падежей — родительного и дательного. Другой пример: *Он принес письмо матери* — письмо чье? или кому?

Более того, разный смысл, разные значения могут быть у одного и того же падежа. Почему нельзя сказать: *Жизнь и ловля пресноводных рыб?* Десятки, сотни подобных словосочетаний не вызывают возражений: *поиски и находки ученых, труд и отдых рабочих* и т. д. Обычно отвечают так: *жизнь рыб* — это они сами живут, сами действуют, а *ловля рыб* — это не они ловят, а их ловят. Можно соединять два словосочетания, когда обозначаются действия, поступки одних и тех же существ. Следовательно, падеж один, а смысл разный. Впрочем, это не так уж редко случается. Вот еще примеры А. Н. Гвоздева: *Преследование тигра окончилось ничем* — тигр преследовал или тигра преследовали? *Обвинение врача было необоснованным* — врача обвиняли или врач обвинял? Или: *Рабочему проходило многое объяснять* — рабочий объяснял или ему объясняли?

Отчасти значение падежа можно вывести из его названия. «Родительный, — отмечал академик В. В. Виноградов, — получил свое имя от того, что он иногда обозначал род, принадлежность, происхождение. Дательный

своим названием выражал одну из своих функций... (ср. употребление дательного падежа при глаголе *дать — давать*)». Творительный падеж ввел в 1596 г. один из первых русских грамматиков — Лаврентий Зизаний. Этот падеж связан по значению с глаголом *творить*, делать что-то при помощи какого-нибудь орудия, средства; поэтому основное значение творительного падежа орудное, инструментальное (*работать топором, молотком* и т. д.). «Мелетий Смотрицкий в своей «Грамматике» (1619) дополнил русскую падежную терминологию еще сказательным падежом (ср. *говорить — сказать о чем-нибудь*), который потом Ломоносовым был переименован в предложный».

Идеальный принцип любой грамматической категории (связь смысла и формальных признаков) постоянно нарушается, когда мы имеем дело с категорией падежа. Любой падеж имеет не одно, а несколько значений. Например, наиболее характерно для творительного падежа 'значение орудия или средства, при помощи которого производится действие'. Но, кроме того, есть творительный времени — *днем, вечером* (это совсем не то, что *писать пером*); творительный способа и образа действия — *шагом, боком*; творительный сравнения — *лететь стрелой* и т. д. Так, если исходить из значения, только внутри творительного падежа можно выделить несколько падежей.

Итак, определить число падежей на основе формальных признаков нельзя, так как среди них нет единообразия; на основе смысла — тоже нельзя, так как нет предела для дробления значений. Сколько же падежей? Этот вопрос ставил еще академик А. И. Соболевский, он писал: «Сколько падежей? Ответ на этот вопрос не только труден, но прямо невозможен. Если принять за основание звуковую форму имени... то мы должны будем сказать, что одни имена (например, *кость* — только с 3 разными звуковыми формами единственного числа) имеют меньше падежей, чем другие... и что число падежей неопределенно. Если же принять за основание грамматическое значение... то мы должны будем насчитать большое количество падежей... Тогда, например, форма *хлеба* в разных предложениях (*я взял себе хлеба, мясо лучше хлеба, мягкость — свойство хлеба*) будет представлять три падежа...»

Практически нас устраивают шесть падежей. Это оптимальный вариант, неустойчивая гармония формальных признаков и значений. Выделять, например, творительный пассивных, страдательных оборотов — *Дом строится рабочими* — мы бы не стали, так как у этого особого значения нет своих форм, окончаний. А если для какого-то определенного значения мы найдем особые формы — разве мы не вправе говорить об отдельном падеже? И это не просто предположение: подобные явления можно найти, подтвердить фактическим анализом языкового материала.

Академик В. В. Виноградов, подводя итог изучению падежей, писал в своей книге «Русский язык»: «В системе современного склонения имен существительных намечается восемь основных падежей: именительный, родительный, количественно-отделительный, дательный, винительный, творительный, местный и изъяснительный — предложный».

Откуда же взялись еще два падежа? Лингвисты обратили внимание на тот факт, что в предложном падеже многие существительные мужского рода имеют разные окончания: *-у(-ю)* или *-е*, например: *танцевать на балу — думать о бале, победить в бою — вспоминать о бое*, а также: *в году — о годе, в долгу — о долге, в краю — о крае, в лесу — о лесе, в саду — о саде, на снегу — о снеге, в(на) шкафу — о шкафе* и т. д. Формальное различие налицо. Различны и значения. Формы на *-у(-ю)* в основном обозначают место, пространство, где что-то находится (местное значение). Формы на *-е* обозначают преимущественно предмет, о котором говорят, думают (изъяснительное значение). Более того, различны и предлоги: местное значение сочетается с предлогами *в, на*, изъяснительное значение — с предлогом *о*. Вот почему в нашем примере со словом *на берегу* ученица не узнала предложный падеж. Многие лингвисты считают, что в современном предложном падеже механически объединены два разных падежа, что нет препятствий для выделения местного падежа, который, как и все остальные падежи, имеет и формальный признак, и специфическое значение. И разве не то же самое мы видим в нашем родительном падеже, где одни и те же слова могут иметь окончание то *-а(-я)*, то *-у(-ю)*: *стакан чая — стакан чаю, кусок сахара — кусок*

сахару, причем формы на -у (-ю) имеют количественно-отделительное (часть целого) значение.

Учитывая все сказанное, мы могли бы, например, так просклонять слово *мед*:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Именительный падеж | |
| 2. Родительный падеж | <i>мед</i> |
| 3. Количественно-отделительный падеж | <i>меда (вкус меда)</i>
<i>меду (попробовать меду)</i> |
| 4. Дательный падеж | <i>меду</i> |
| 5. Винительный падеж | <i>мед</i> |
| 6. Творительный падеж | <i>медом</i> |
| 7. Местный падеж | <i>меду (на меду, в меду)</i> |
| 8. Изъяснительный падеж | <i>меде (о меде)</i> |

Не все убеждены в самостоятельности двух новых падежей. Наблюдения показывают, что формы родительного падежа на -у (-ю) употребляются все реже, круг существительных с этими окончаниями узок и т. д. Поэтому, наверное, целесообразно сохранить шестипадежную систему, но научиться различать значения падежей.

Средство скрывать мысли

Приходилось ли вам решать такие задачи: как разделить три яблока между тремя девочками так, чтобы каждая получила по целому яблоку и чтобы при этом одно яблоко осталось в корзине? Это не математическая задача, хотя и помещается она в сборниках задач по математике. Это языковая задача. Делить тут нечего: надо дать двум девочкам по яблоку, а третьей дать корзину, в которой лежит последнее яблоко. Оказывается, в этой простой задаче, вернее, в способах ее языкового выражения скрыт особый, непривычный смысл. Ведь когда мы слышим: *Одно яблоко должно остаться в корзине*, мы понимаем, что это яблоко не получает ни одна из девочек. Если при раздаче кто-то получает часть предметов, а часть остается, то остаток так остатком и называется, потому что его никто не получает. Таков смысл слов, но не таков смысл действий. В реальной действительности,



конечно, яблоки можно раздавать, вынимая их из корзины или не вынимая.

Приходится только удивляться, как иногда при точности и определенности значения смысл слова может быть неопределенным и расплывчатым. Так, обычное слово *нормально*, например, в высказывании *Работа идет нормально* может относиться к разным фактам — все зависит от того, что говорящий понимает под словом *нормально*. То, что ему кажется нормальным, в действительности может быть плохим (или хорошим).

На вопрос: «Что такое новое искусство?» — одни отвечают: это новая форма, а другие — это новое содержание. Кто прав? Можно согласиться и с теми и с другими; все зависит от того, в каком смысле «форма», в каком смысле «содержание». Форма в искусстве содержательна. Содержание неразрывно связано с формой. Поэтому не спешите зачислять в разряд формалистов человека, который говорит о значении формы.

Когда говорят *Никто не возражал*, это не всегда значит, что возражений не было, что все были согласны. Возможно, что те, у кого могли быть возражения, просто не захотели по каким-то причинам выступить.

Мы готовы легко одобрить, принять то, что полезно, но иногда целесообразно спросить: «полезно для кого?»

Древние греки, готовясь к какому-либо серьезному походу, вопрошали богов, обращаясь к ним за советом. Они отправлялись в Дельфы, в храм Аполлона, и оракул сообщал им волю бога. Так, могущественный лидийский царь Крез, который владел великими богатствами и повелевал множеством людей» (ср. пословицу *богат, как Крез*), задумав пойти войной против персов, отправил в Дельфы послов, и они спросили оракулов: «Крез, царь лидийцев и других народов, считая, что здесь он получил <ранее> единственно правдивые на свете прорицания, послал вам эти дары... Теперь царь спрашивает вас: выступить ли ему в поход на персов и искать ли для этого союзников». Рассказывая об этом, «отец истории» Геродот пишет: «Так вопрошали послы, а оба оракула дали одинаковый ответ и объявили Крезу: «Если царь пойдет войной на персов, то сокрушит великое царство...» А Крез, получив прорицания оракулов и узнав их содержание, чрезвычайно обрадовался. Теперь царь твердо уповал, что сокрушит царство Кира».

Уверенный в своей победе, Крез перешел пограничную реку Галис, но потерпел жестокое поражение. Персы овладели главным городом — Сардами, а сам Крез живым попал в плен. Кир весьма милостиво обошелся со своим недавним врагом. Однако Крезу не давала покоя одна мысль — как могли боги так жестоко обмануть его? И вот, по свидетельству Геродота, Крез обращается к персидскому царю: «Владыка! Ты окажешь мне величайшее благодеяние, позволив послать эллинскому богу, которого я чтил превыше всех других богов, вот эти оковы и спросить его: неужели у него в обычае обманывать своих друзей?»

Вновь отправились в Дельфы послы с поручением Креза, только теперь не дары — оковы возложили они на пороге святилища. И спрашивали теперь не о будущем; они спросили, «не стыдно ли было богу побуждать Креза прорицаниями к войне с персами, чтобы сокрушить державу Кира, отчего и получились такие вот «победные дары», — спросили с горькой иронией и указали при этом на оковы. И добавили: «В обычае ли у эллинских богов проявлять неблагодарность?»

Вскоре последовал ответ: предсказание сбылось точно; просто Крез не понял слов *разрушит великое царство*. «Если бы Крез желал принять правильное решение, то должен был отправить послов вновь спросить оракулов: какое именно царство понимает бог — его, Креза, или Кира. Но так как Крез не понял изречения оракула и вторично не спросил его, то пусть винит самого себя». Дельфийские жрецы были великими мастерами двусмысленных формулировок: что бы ни случилось, они всегда были правы.

Язык — это великолепное средство выражать мысли, но, как это ни парадоксально, легко превращается в средство скрывать их. Умением хитро прятать суть дела за слово отличались не только служители бога, но и служители «денежного мешка».

Летом 1917 г. в газете «Правда» появилась небольшая заметка В. И. Ленина «Как прячут прибыли господа капиталисты (*К вопросу о контроле*)». Существуют, конечно, десятки способов прятать прибыли. Финансовые махинации господ капиталистов весьма многообразны. В. И. Ленин разоблачил один из самых хитрых и неожиданных — способ прятать прибыли за

слово. Оказалось, чтобы скрыть прибыль, достаточно назвать ее как-нибудь по-другому:

...Именно в так называемый резерв или резервный капитал сплошь да рядом записывают прибыль, чтобы скрыть ее. Если я, миллионер, получил 17 млн. прибыли, из них 5 млн. «резервировал» (т. е., по-русски, отложил про запас), то мне достаточно записать эти 5 млн. как «резервный капитал», и дело в шляпе! Все и всякие законы о «государственном контроле», «государственном обложении прибыли» и прочее *обойдены!*

Конечно, для того чтобы надежно скрыть суть дела, нужно выбрать слово достаточно «туманное», абстрактно-книжное, изысканное, возможно менее употребительное и менее понятное, далекое от конкретно-бытовой сферы. В этом отношении, например, слова *резерв*, *резервировать* очень удобны как иностранные, сугубо книжные, с достаточно «широким» смыслом. Именно поэтому В. И. Ленин, стремясь разоблачить господ капиталистов, не просто вскрывает истинное содержание слова *резервировать*, но и заменяет его общепонятным синонимическим выражением *отложил про запас*.

Чтобы скрыть прибыль, можно было найти и другие слова. В. И. Ленин отмечает, что так и поступали капиталисты:

Далее. В отчете имеется еще сумма в 3,8 миллиона рублей — «переходящие суммы». «Что это за переходящие суммы,— пишет нам товарищ,— трудно определить лицу, не принимавшему непосредственного участия в деле. Можно сказать только одно: под названием «переходящих сумм» можно скрыть, при составлении отчета, часть прибыли, а потом оттуда перенести «куда следует»».

Границы слова оказываются зыбкими, колеблющимися. Значение слова как бы расплывается. И чем дальше слово от конкретно-бытового употребления, чем оно абстрактнее, тем неопределеннее. Это оказывается нередко причиной ожесточенных споров. Особенно часто по-разному осмысляются философские и политические термины. В. И. Ленин неоднократно показывал, как слова *свобода*, *демократия*, *революция*, *социализм* могут быть использованы для маскировки самой реакционной теории и практики.

Так, в статье «О вреде фраз» В. И. Ленин разоблачал фразерство меньшевиков и эсеров:

Господа герои фразы! господа рыцари революционного красноречия! Социализм требует отличать демократию капиталистов от демократии пролетариев, революцию буржуазии и революцию пролетариата... Министералисты народники и меньшевики фразерствуют о «демократии» вообще, о «Революции» вообще, чтобы *прикрыть* этим свое соглашение с империалистской, на деле уже контрреволюционной, буржуазией своей страны...

Об этом же В. И. Ленин предупреждает во множестве статей и заметок. Так, в статье «О твердой революционной власти» читаем:

Надо только, чтобы фраза не темнила ума, не засоряла сознания. Когда говорят о «революции», о «революционном народе», о «революционной демократии» и т. п., то *в девяти случаях из десяти* это лганье или самообман. Надо спрашивать, о революции *какого класса* идет речь? о революции *против кого?*

Наглядное представление о том, как выявлять двузначность, как добиваться точности, определенности речи, дает редакционная работа В. И. Ленина, в частности, его правки в статье В. Воровского «Мир и реакция», напечатанной в № 17 «Пролетария» (сентябрь 1905 г.). Вот только две небольшие иллюстрации.

Мир и реакция.

...Мир теперь заключен — и заключен, как того хотела Искра...

Япония не добила царского могущества — эта задача выпадает на долю революционного народа...

Редакция Ленина.

Мир теперь заключен — и заключен, в точном соответствии с лозунгом Искры..

Японии не позволили добить царского могущества — эта задача целиком выпадает на долю революционного народа.

Редакционной правке подвергаются как будто самые обычные и вполне определенные фразы. В первом примере В. И. Ленин заменил нейтральное, даже отчасти разговорное выражение *как того хотела* на книжное, даже несколько тяжеловесное *в точном соответствии*. И сделано это с вполне очевидной целью — повысить точность высказывания, подчеркнуть, выделить основную мысль. В самом деле — *мир... заключен, как того хотела «Искра»* — может означать:

1) мир заключен — именно этого и хотела «Искра»;

2) мир заключен именно такой, какого хотела «Искра», т. е. в одном случае указывается только на факт соглашения, в другом — на характер соглашения. Точности, определенности способствует также включение слова *лозунг*. В. И. Ленин тонко уловил некоторую зыбкость фразы, возможность ее двойственного понимания и толкования и добился точности. Во втором примере правка также способствует точности выражения мысли. *Япония не добила...* — простая констатация факта, но она скрывает разные смыслы: *не добила* — 'потому что по каким-то причинам не хотела добить' или 'потому что помешали, не позволили добить'. В. И. Ленин и вычленяет необходимый в данном случае оттенок смысла, четко формулирует мысль автора.

Последите за разговором, и вы убедитесь, как часто приходится задавать вопрос: «А в каком смысле?», «Что вы этим хотите сказать?» Уточняйте значения слов, говорил философ, и вы избавите мир от половины заблуждений.

В романе Чернышевского «Что делать?» скупой и недалекой матери Веры Павловны понравились рассуждения Лопухова о *выгоде*. И тот и другая стремятся к *выгоде*, говорят о *выгоде*. Но автор замечает: «Если бы, например, он стал объяснять, что такое «выгода», о которой он толкует с Верочкою, быть может, Марья Алексеевна поморщилась бы, увидев, что выгода этой выгоды не совсем сходна с ее выгодою...».

В жизни мы часто сталкиваемся с такими фактами, когда об одном и том же говорят по-разному. Например, говорят о *нетактичности* человека, когда вы обозначили бы его поведение словом *развязность*. В зависимости от нашего отношения к человеку мы говорим о нем: *бережливый* или *жадный*, *экономный* или *скупой*, *осторожный* или *трусливый*, *спокойный* или *бездушный*, *старается* или *усердствует* и т. д. Эти синонимы нередко используются как антонимы, слова с противоположным смыслом.

Но «лжет» ли при этом язык или говорящий? Виноват ли язык? Есть ли что-то заложенное в самом языке, позволяющее скрывать мысль?

Эти вопросы вплотную подводят к изучению механизма словоупотребления, к природе слова. Что в самом языке может привести к двусмысленности, к различному пониманию, восприятию речи?

Анатомируя слово, мы прежде всего открываем двойственность его природы: его способность в одно и то же время обозначать и конкретный предмет, и понятие об этом предмете.

Например, слово *дом* может обозначать конкретное, данное строение в совокупности всех его индивидуальных признаков и общее понятие о доме, любой дом — каменный, деревянный, высокий, низкий — дом вообще. Словом *собака* мы называем и конкретное животное, и вообще всех собак. Может быть, это частный или временный недостаток языка? Может быть, это исчезнет с развитием языка? Нет, такая двойственность кроется в самой природе языка. Без способности слова обобщать мы просто не могли бы пользоваться языком: ведь для каждого конкретного предмета потребовалось бы свое, особое, непохожее на других слово. Без абстрагирования, без обобщения, которое обеспечивает язык, невозможно было бы человеческое мышление того уровня, которого мы достигли, невозможно было бы познание.

В. И. Ленин в фрагменте «К вопросу о диалектике» писал: «...отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д.»

Далее. Многозначность слова тоже является источником парадоксов, причиной недоразумений, непонимания. Так, например, в словосочетании *каменный дом* одно значение слова *дом*, в *хлопотать по дому* — другое, в *торговый дом* — третье и т. д. Случайно это или закономерно? Безусловно, это закономерность, которая содержится в природе языка. (Мы не говорим уже об омонимах: *ключ* — ‘источник’ и ‘дверной ключ’ и др.).

Слово не только многозначно, но и, так сказать, «многосмысленно». Например, *новое платье* — это может быть: а) не бывшее в употреблении, б) неизвестное до сих пор говорящему, в) только что купленное, г) платье, только что заменившее другое, д) платье с новым рисунком, е) платье нового фасона, цвета и т. п.

Важно учитывать и соотношение разных значений и оттенков в слове. Скажем, *субъективный* может в каких-

то значениях совпадать со словом *индивидуальный*, а может иногда сильно расходиться. *Недобрый* — не обязательно 'злой'; вам говорят: *Петров человек не добрый*, вы можете подумать *злой*, а имелось в виду, что он и не добрый, и не злой. Могут быть и иные осмысления.

Большую роль также играют разного рода ассоциации, которые вызывает слово. Так, один человек говорит: *Такси — это великолепно*, имея в виду быстрый и удобный вид передвижения, а другой может с этим не согласиться, имея в виду высокую стоимость проезда и проч. Это одно из проявлений очень важной особенности речи, которая порождена тем, что собеседники могут рассматривать один факт, явление в разных отношениях. Человек, например, думает о том, как хорошо иметь собственный транспорт, не зависеть от других, и говорит: *Собственная машина лучше, чем такси*. Собеседник вспоминает, что машина требует большого ухода, отнимает много сил, времени и средств, и возражает: *Такси лучше, чем собственная машина*. Разгорается спор, в котором может и не родиться истина. Очень часто в быту спорят «о разных вещах» или об одном предмете, но рассматриваемом в разных отношениях.

К недоразумениям могут вести не только смысловые нюансы. Важно учитывать те оценочные моменты, которые заложены в слове вообще или появляются в речи. Когда мы говорим, что *магазины наводнены синтетикой*, мы не просто сообщаем о факте, но и высказываем к нему свое отрицательное отношение (*наводнены*). Слушатели понимают, что говорящий недоволен подобным «изобилием». Часто эмоциональная оценка выражается стилистически окрашенным словом. Сравните, в частности, объективную констатацию факта: *Он ни с кем не считается* и резкую оценку: *Да он вообще зарвался*.

Усиливая или ослабляя эмоционально-оценочную сторону высказывания, говорящий может менять освещение факта, подавать его в «ином свете», т. е. скрывать нежелательный момент. Это может быть даже хитрой уловкой в споре. И такие уловки нужно уметь видеть и разоблачать.

Когда двое спорят и один утверждает, что *X — поэт*, а другой, что *X — не поэт*, оба могут быть правы: только первый употребляет слово *поэт* в обычном, нейтральном смысле — 'автор стихотворных произведений', а

другой — в оценочном: 'плохой поэт, графоман'. Третий может прозаика назвать поэтом и т. д., четвертый может назвать поэтом даже человека, не имеющего отношения к литературе, а просто мастера своего дела.

Показательны в этом отношении заметки Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» (1876). Речь идет о нашумевшем деле Кронеберга. Суть дела писатель передает так: «Напомню дело: отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко, по обвинению — обходился с нею жестоко и прежде. Одна посторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой девочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: «папа! папа!» Розги же, по свидетельству одного эксперта, оказались не розгами, а «шпицрутенами», т. е. невозможными для семилетнего возраста».

Преступление налицо, отвергнуть, отрицать факт невозможно, участь обвиняемого, казалось, решена. Но выступает адвокат Спасович. Он не намерен *защищать*, он хочет только объективно разобраться в деле, *исследовать* все обстоятельства. И вот Кронеберг оправдан. Достоевский внимательно, детально рассматривает речь Спасовича и выявляет те «ловкие приемы», которые использовал защитник. Достоевский отмечает, что адвокат слово *истязание* заменил словом *наказание*. Смысл как будто один. А эффект различный. *Наказание* — это нейтральное обозначение сечения розгами. Наказание может быть и оправданным и необходимым. В слове *истязание* заключена оценка, в нем скрыт образ мучителя, изверга. *Истязание* — такое наказание, которое мы считаем несправедливым, чересчур жестоким, которое вызывает в нас протест, чувство возмущения. Спасович устраняет эту нежелательную для него оценку, в связи с чем Достоевский иронически замечает: «То есть, видите ли: «наказание», а не «истязание», сам говорит, значит, всего только родного отца судят за то, что ребенка побольнее посек. Эк ведь время-то пришло!»

Спасович, говоря о девочке, старается использовать общие обозначения, и Достоевский ловит его на этом: «Но верх искусства в том, что г. Спасович совершенно конфисковал лета ребенка! Он все толкует нам о какой-то девочке, испорченной и порочной... и совершенно как бы забыл сам (а мы вместе с ним), что дело идет всего только об семилетнем младенце, и что это самое *дранье*,

целую четверть часа, этими девятью рябиновыми «шпицрутенами», — не только для взрослого, но и для четырнадцатилетнего было бы наверно в девять раз легче, чем для этой жалкой крошки!» Обратим внимание, что если Спасовичу важно устранить «оценочный момент», избежать эмоций, если ему нужны «нейтральные» слова — *наказание, девочка*, то Достоевский, напротив, взывает к нашему сочувствию и тот же факт обозначает резким, сильным, стилистически окрашенным словом *дранье*, он говорит о *жалкой крошке, о младенце и шпицрутенах* (Спасович — о *розге*; это также не ускользнуло от внимательного взгляда писателя: «Так все дело стало быть идет всего только о розге, а не о пучке розг, не о «шпицрутенах». Вы вглядываетесь, вы слушаете, — нет, человек говорит серьезно, не шутит. ¶ Весь содом-то стало быть подняли из-за розочки в детском возрасте и о том: употреблять ее или не употреблять»).

Заметим попутно, что двусмысленность может создаваться и синтаксической формой, структурой предложения: *Директору надо указать на недостатки* — т. е. директор должен указать или кто-то должен указать директору; такого типа предложения всегда двусмысленны.

Здесь два существенных момента. Во-первых, предметы и явления действительности обладают целым набором признаков — форма, цвет, материал, размер и др. Во-вторых, связи предметов многообразны. Говорящий может иметь в виду один признак, а слушатель может воспринять другой; для говорящего особую важность могут иметь одни элементы, а для слушателя — другие. Так, некто сообщает: *У Ивановой сын скоро кончит школу*. И эта фраза может иметь смысл простой информации. Но она может и осложняться, иметь особый, дополнительный смысл в зависимости от того, о чем шла речь — о том, есть ли у Ивановой дети вообще, или же о том, сколько Ивановой может быть лет.

Кроме того, в речи мы часто опускаем отдельные моменты, особенности и т. п., которые как бы подразумеваются, которые мы считаем само собой разумеющимися. Например: *Вода кипит при 100°С*. Верно, но только в нормальных условиях. Но то, что для нас «само собой разумеется», для другого может не быть таковым. Особенно важно это иметь в виду при обучении. Первоклассник не может решить простую задачу — разделить три

на два. Он плачет: не делится. И это суждение истинно при условии: не делится без остатка. И это суждение ложно, если иметь представление об общих правилах деления, о дробях и т. д. В большинстве случаев мы не пользуемся такими уточнениями, предполагаем, что они излишни, что собеседнику все известно или может быть ясно из контекста, ситуации и т. п.

Связи и отношения элементов действительности многообразны, а способы выражения нередко одинаковы. Возьмем классический пример логики:

1. Прямоугольные ромбы суть квадраты.
2. Писатели суть литераторы.
3. Кама и Ока суть притоки Волги.

Структура этих трех предложений одна, а выражаемые отношения различны. В первом предложении налицо «отношения равнозначности» (прямоугольные ромбы — это то же, что квадраты, т. е. множества совпадают). Во втором предложении отношения иные: объем понятия 'литераторы' шире, чем объем понятия 'писатели'; к литераторам можно отнести и неписателей (критиков, поэтов и т. п.). Здесь можно говорить об «отношении включения» одного множества (предметов, лиц) в другое. В третьем предложении указывается особый характер отношения Камы и Оки к Волге — это не равнозначность и не включение, а связь элементов множества с множеством.

Уже из приведенных примеров видно, как велика в речи роль контекста, ситуации. Любопытную иллюстрацию можно извлечь из романа Чернышевского «Что делать?»:

...Марья Алексевна, с самого начала слушавшая Лопухова серьезно, обратилась к Верочке и сказала: «Друг мой, Верочка, что ты все такой буквой сидишь? Ты теперь с Дмитрием Сергеичем знакома, попросила бы его сыграть тебе в аккомпанемент, а сама бы спела!», и смысл этих слов был: «Мы вас очень уважаем, Дмитрий Сергеич, и желаем, чтобы вы были близким знакомым нашего семейства; а ты, Верочка, не дичись Дмитрия Сергеича...» — Это было для Верочки и для Дмитрия Сергеича, — он теперь уж и в мыслях Марьи Алексевны был не «учитель», а «Дмитрий Сергеич», — а для самой Марьи Алексевны слова ее имели третий, самый натуральный и настоящий смысл: «Надо его приласкать; знакомство может впоследствии пригодиться, когда будет богат, шельма»; это был общий смысл слов Марьи Алексевны для Марьи

Алексевны, а кроме общего, был в них для нее и частный смысл: «приласкавши, стану ему говорить, что мы люди небогатые, что нам тяжело платить по целковому за урок». Вот сколько смыслов имели слова Марьи Алексеевны.

Ситуация, отношение фактов реальной действительности может выражаться различными языковыми средствами. Вообще, соответствие «содержания» и «выражения» относительно. Один языковой элемент может иметь несколько назначений, может выполнять различные функции. Возьмем, например, союз *и*. Он служит для соединения слов и предложений. Но отношения соединяемых элементов могут быть очень разными. Сначала покажем механизм приема, а потом прием «сокрытия мыслей» в действии. Однажды, выступая по радио, директор одной из лучших здравниц сказал: *К обеду у нас подают минеральную воду и сок*. И эта как будто совсем простая и естественная фраза вызвала недоумение слушателей: подают ли там сразу и воду и сок (так поняли одни); подают ли воду или сок, т. е. в значении 'и' или в значении 'или' употреблен союз *и*.

Знакомый вам говорит: *Если получу премию, то куплю мотоцикл и поеду на море*. О чем здесь идет речь: о том ли, что товарищ надеется сделать две приятные для него вещи — купить мотоцикл и отдохнуть на море без мотоцикла (два действия не связаны между собой); о том ли, что товарищ намеревается, купив мотоцикл, поехать на нем на море (действия связаны). Кроме того, могут быть дополнительные «акценты»: товарищ говорит, что получит двойное удовольствие от поездки по хорошим местам на мотоцикле, что мотоцикл даст ему возможность наконец попасть на море и т. д.

В рекламном объявлении сказано: *Новое изделие можно использовать и как украшение, и как предмет обихода*. И снова неясно, подразумевается значение 'и' или значение 'или'.

Другую особенность сочетаний с союзом *и* хорошо иллюстрирует эпизод из романа Н. Г. Чернышевского: Вера Павловна, получившая известие от Лопухова о том, что он «сходит со сцены», убита горем, Рахметов приходит, чтобы ее утешить и помочь. Она не в силах рассказывать ему о своем горе, но Рахметов предупреждает: *...я видел Александра Матвееча (Кирсанова. — В. О.) и знаю все*. Как можно понять подобное заявле-

ние? Кажется, только так: Кирсанов, встретив Рахметова, все ему рассказал. Именно так и понимает эти слова героиня романа. Но это неверно. Такое построение позволяет Рахметову скрыть очень важный факт, о котором он позже рассказывает Вере Павловне:

Я вам сказал, что встретился с Александром Матвейчем и что знаю все. Это действительно правда. Я точно виделся с Александром Матвейчем, и точно я знаю все. Но я не говорил того, что я знаю все от него, и я не мог бы этого сказать, потому что действительно знаю все не от него, а от Дмитрия Сергеича, который просидел у меня часа два...

Мы предполагаем, что два факта непосредственно связаны, находятся в отношении «причина — следствие» (т. е. 'знаю, потому что встретил'), а они фактически независимы. Рассуждение «после того, значит, вследствие того» — логическая ошибка. Союз *и* как способ выражения не позволил нам ее увидеть.

Любопытным примером того, как можно использовать двусмысленность, замаскировать или сознательно не видеть истинного смысла высказывания, является диалог между Иудушкой и Петенькой в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». В конце бурного объяснения с сыном Иудушка восклицает:

— ...Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?

— Да, вы!

— А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге. При чем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?

— Уж будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видит бог, не понимаю!

— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? я? Христос с тобой! Никогда я не позволял! Нникогда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет: пойдй, угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну, и я ему ответил: коли хочешь жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было,— поддразнивает Петенька,— а разве это не позволение?

— То-то, что нет. Я что сказал? я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: хочу, папа, жениться на Лидочке — ну, и я насчет позволения умолчал. Хочешь жениться — ну, и Христос с тобой! Женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу!

— А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно.

— Нет, этого я никогда не позволю себе сделать! Чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотел жениться — женись! Ну, а насчет последствий — не прогневайся! Сам должен был предусматривать — на то и ум тебе от бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь.

Как это мы нередко видим, при желании можно извлечь из слова нужный смысл для оправдания собственных действий, поступков. Персонаж прямо указывает: «У вас ведь каждое слово десять значений имеет». И в самом деле, сначала Иудушка ни за что не хочет признать переносного значения глагола *убить*. Он знает только прямое значение — и точно: *за семьсот верст убить* (в прямом значении) тогда было нельзя. Его замечание *я был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге* как раз должно подчеркивать конкретный смысл глагола. Собеседник его, соответственно, должен был выдвинуть иные признаки, усиливающие переносный смысл глагола: *без копейки оставил, жалованье прекратил*. А затем спор разгорается с новой силой, идет толкование, интерпретация просьбы Володеньки и ответа Иудушки. Если подходить строго, формально-логически, Иудушку можно и оправдать. Действительно, *хочу* не значит 'прошу', и *не препятствую* не значит 'позволяю'. Но в языке, в речи отношения языковых единиц сложнее, многообразнее. В зависимости от обстановки, ситуации, тех отношений, в которые вступают друг с другом говорящие, смысл фраз меняется, варьируется.

Восклицание *Свет!* может означать и то, что вы заметили свет (например, в окне или в поле), или просьбу

посветить, или приказ дать световой сигнал и др. Замечание *На полках пыль* может быть и простой констатацией факта, и просьбой протереть, и выговором и т. д. Когда сын пишет отцу о намерении жениться, то он вправе ожидать в ответ выражение согласия или несогласия, одобрения или возмущения и т. п. Обычный (возможный) ответ и отражается в реплике сына: «Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю...» Но Иудушку такой общечеловеческий смысл никак не устраивает, ему нужно, чтобы сын его неправильно понял (при сохранении формальной правоты) — и все это дополняется игрой в благородство — он не позволит себе «употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда!!» Как опасно иметь дело с подобными людьми, как важно видеть и понимать подобные уловки!

Об одном и том же можно сказать по-разному. Пусть кажется, что говорится одно и то же. Будьте внимательны — не может не быть оттенков мысли. Вам говорят: *Пойдите и спросите у него, это он сделал или нет*. Вы возвращаетесь. Вы можете ответить: *Он этого не делал* или: *Он сказал, что он этого не делал*. На первый взгляд оба утверждения одинаковы. Более того, второе, кажется, более точно, объективно передает ответ. Но в этих вариантах кроются дополнительные смыслы. В первом случае скрытый смысл «Я этому верю», во втором — «Я этому не верю» ('он утверждает, что якобы он этого не делал').

И здесь мы подходим к ряду важных научных тем — к проблемам соотношения языка и действительности, к тому, как обозначение явления влияет на действия людей, как ситуация определяет наше понимание высказываний (отчасти об этом шла речь ранее). Любопытные наблюдения сделал американский лингвист Бенджамен Уорф. Он писал: «Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы... в области, обычно считающейся очень отдаленной от лингвистики. Это произошло во время моей работы в обществе страхования от огня. В мои задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах, приведших к возникновению пожара или взрыва. Я фиксировал чисто физические причины, такие, как неисправная проводка, наличие или отсутствие воздушного про-

странства между дымоходами и деревянными частями зданий и т. п., а результаты обследования описывал в соответствующих терминах». И вдруг Б. Уорф заметил, что нередко причиной пожара являлось... слово. Как же это проявлялось?

На складе, увидев надпись *Бочки с бензином* или *Газолиновые цистерны*, конечно, никто не станет курить, не бросит горящую спичку. Но в месте, где находятся просто бочки или пустые бочки из-под бензина и где висит соответствующая надпись, например *Пустые газолиновые цистерны*, люди ведут себя свободно — ведь пустые, а *пустой* значит 'ничем не заполненный, полый'. Но именно эти-то пустые бочки из-под бензина и могут стать причиной пожара: смесь бензина с воздухом взрывоопасна.

В *теплой* воде приятно купаться, но в воду, температура которой даже $+15^{\circ}\text{C}$, полезет не каждый — холодно, хотя и 15° *тепла*.

Отношения предметов и явлений в реальной действительности сложны и многообразны. Эта сложность может породить разное осмысление слова, может выделить те или иные смысловые нюансы, которые не всегда прямо отражаются в языке. Вот три предложения: 1. *Судья независим и подчиняется только закону.* 2. *Судья может ошибаться, как и любой человек.* 3. *Судья живет в соседней квартире.*

Во всех предложениях одно слово — *судья*. Казалось бы, слово с одним значением. А смысл разный. В первом предложении слово предельно абстрактно, выражено, как говорят логики, «содержание понятия». Во втором предложении имеется в виду каждый, любой судья, их совокупность, выражается «объем понятия». В третьем речь идет о единичном, конкретном человеке, об определенном лице. То есть каждый раз смысл слова варьируется, видоизменяется. Но даже когда смысл как будто один, возможны его оттенки. Например, в предложениях *Пушкин — великий поэт* и *Пушкин был сослан* говорится о конкретной личности, но в первом речь идет о Пушкине как поэте, во втором о Пушкине-человеке в определенный период его жизни.

Многие писатели в большей или меньшей степени отмечали эту особенность человеческой речи. Но никто не обращался к ней столь полно и разносторонне, как

Л. Толстой. Она стала одной из главнейших идейно-стилистических черт его творчества. Указание на разрыв слова и дела, на несоответствие формы и сути проявляется и при описании действий и мыслей персонажей, и в случаях открытого, публицистического выступления автора.

Показателен следующий пример из романа «Война и мир».

Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесенные в этот день афиши Растопчина.

В первой говорилось о том, что слух, будто графом Растопчиным запрещен выезд из Москвы — несправедлив, и что напротив граф Растопчин рад, что из Москвы выезжают барыни и купеческие жены. «Меньше страху, меньше новостей», говорилось в афише, «но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве.

Любопытно продолжение этой темы в разговоре Пьера с княжной:

— Но вам это неправильно доносят, — сказал Пьер. — В городе все тихо, и опасности никакой нет. Вот я сейчас читал... — Пьер показал княжне афишки. — Граф пишет, что он жизнью отвечает, что неприятель не будет в Москве.

— Ах, этот ваш граф, — с злобой заговорила княжна, — это лицемер...

Но особенно резко и сильно «срывание масок» посредством словесного разоблачения выступает в суждениях писателя о буржуазной философии, историографии, науке вообще и др. Так, в «Войне и мире» читаем:

Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о *случае* и о *гении*.

«Но что такое *случай*? Что такое *гений*?» — спрашивает писатель. Ведь из того, что найдено какое-то слово, как-то обозначено происходящее, еще не следует, что объяснено явление, выявлена сущность процесса. Л. Толстой продолжает:

Слова *случай* и *гений* не обозначают ничего действительно существующего, и потому не могут быть определены. Слова эти только

обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое-то явление; думаю, что не могу знать: потому не хочу знать и говорю: *случай*. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: *гений*.

И дальше этот тезис конкретизируется, развивается применительно к роли Наполеона, оценке его историками.

Позже, как бы подводя итог различным историческим концепциям, Л. Толстой писал: «...духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея,— все это понятия неясные, неопределенные, под знаменем которых весьма удобно употреблять слова, имеющие еще менее ясного значения и потому легко подставляемые под всякие теории».

Аналогично характеризуются, оцениваются и ходовые тогда философские понятия. Левин в «Анне Карениной» задумывается о смысле жизни:

Мысли эти томили и мучали его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели...

Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал или сам придумывал опровержения против других учений, в особенности против материалистического; но как только он читал или сам придумывал разрешение вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как *дух, воля, свобода, субстанция*, нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити,— и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум.

Красивые фразы, высокие, ученые слова при столкновении с реальной жизнью, с простотой действительности, стремится показать Л. Толстой, разбиваются, теряют всякий смысл, всякое значение. Эту важную идейно-стилистическую особенность художественного мышления, творчества Л. Толстого открыл и объяснил академик В. В. Виноградов, который писал («О языке Толстого»): «Слова могут быть лишь прикрытием, а не раскрытием

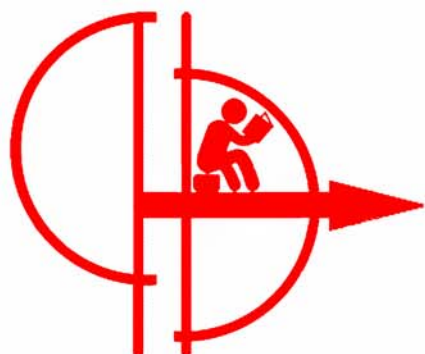
истинного содержания сознания. Они бывают пустой фразой, позой, искусственно выставяющей какую-нибудь мнимую, навязанную ложными понятиями черту характера, эмоцию. Разоблачение таких фраз составляет индивидуальную особенность стиля Л. Толстого».

Об этом разоблачении писателем красивых фраз и условности философской терминологии либерализма писал В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой»: «Посмотрите на оценку Толстого либеральными газетами. Они отделяются теми пустыми, казенно-либеральными, избито-профессорскими фразами о «голосе цивилизованного человечества», о «единодушном отклике мира», об «идеях правды, добра» и т. д., за которые так бичевал Толстой — и справедливо бичевал — буржуазную науку. Они *не могут* высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм... потому, что каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму; — потому, что одна уже безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая *постановка* Толстым самых больных, самых проклятых вопросов нашего времени *бьет в лицо* шаблонным фразам, избитым вывертам, уклончивой, «цивилизованной» лжи нашей либеральной (и либерально-народнической) публицистики».

Слово оказывается сложным, многомерным. Оно может быть сухим, мертвым, то вдруг поворачивается такими гранями, которые заставляют сверкать и переливаться всеми красками нашу речь. Понять главные особенности слова, увидеть все его стороны, использовать его так, чтобы как на ладони донести до собеседника нашу мысль, — значит владеть словом. А для этого необходимо проникнуть в глубины языка, понять его механизм, научиться бережному, любовному обращению со словом.

Есть такое понятие — правильность речи. Но и правильная речь может быть бедной, бесцветной. Великие писатели, публицисты — мастера слова, мастера именно потому, что умели найти точное, меткое, единственное слово для передачи глубокого содержания.

Наш язык гибок и точен, он позволяет выразить тонкие оттенки смысла. Но нужно их видеть, чувствовать, только при этом условии можно говорить о подлинной культуре речи, о владении родным языком.



СОДЕРЖАНИЕ

К читателям	3
Языковая логика	
Лабиринт	6
Узаконенные ошибки	11
О богатстве и гибкости языка	13
Из глубины веков	
Коварство времени	16
Седьмой падеж	20
Вокруг местоимения	24
Кем работает мама? (ответ на письмо)	28
Тайна грамматического рода	34
Судьбы слов	42
Творцы новых слов	44
Мы открываем континенты	48
Постоянный поиск	
Истины и предрассудки (диалог с отступлениями)	55
Уроки истории	82
Сколько частей речи в русском языке?	93
Грамматика и языковые ошибки	104
Средство скрывать мысли	109

Виктор Васильевич Одинцов

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ

Редактор *И. И. Нестеренко*. Рисунки художника *Гинукова В. И.*
Обложка художника *Митурич С. В.* Художественный редактор *Т. Г. Никулина*. Технический редактор *К. К. Колпакова*.
Корректор *М. И. Миримская*

Сдано в набор 18/XI 1975 г. Подписано к печати 14/V 1976 г. 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Печ. л. 4,0. Условн. л. 6,72. Уч.-изд л. 6,76. Тираж 150 тыс. экз. А05628. Заказ № 7408.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи. 41.

Областная типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ивановского облисполкома, г. Иваново-8, ул. Типографская, 6.

Цена 18 коп.

18 коп.



В.В.ОДИНЦОВ

ЛИНГВИСТИКА
ЧЕСКИЕ
ПАРАДОКСЫ

